

АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ

Родовая
Земля



Сибириада. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина

Александр Донских

Родовая земля

«ВЕЧЕ»

2018

Донских А. С.

Родовая земля / А. С. Донских — «ВЕЧЕ», 2018 — (Сибириада.
Лауреаты премии им. В. Г. Распутина)

ISBN 978-5-4484-7549-8

Герои этого увлекательного повествования – сибирские крестьяне, оказавшиеся на сломе эпох. Революционная смута, Гражданская война, крушение традиций... и на фоне этих трагических событий любовная драма главной героини Елены, сложные судьбы её родных и односельчан. Прошедшие через горнило испытаний и потерь, герои укрепляются в мысли, что основа человеческой жизни – это семья и вера, родная земля, дающие силы и поддержку. Неслучайно Валентин Распутин сравнивал «Родовую землю» Александра Донских с «Тихим Доном» Михаила Шолохова.

ISBN 978-5-4484-7549-8

© Донских А. С., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	9
Глава 3	11
Глава 4	13
Глава 5	19
Глава 6	21
Глава 7	24
Глава 8	27
Глава 9	31
Глава 10	33
Глава 11	35
Глава 12	37
Глава 13	39
Глава 14	41
Глава 15	45
Глава 16	47
Глава 17	50
Глава 18	53
Глава 19	55
Глава 20	58
Глава 21	61
Глава 22	62
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Александр Сергеевич Донских

Родовая земля

© Донских А.С., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

Глава 1

По окованной льдом Ангаре, по заснеженному великому Московскому тракту, по сугробистым улицам прибрежного села Погожего – по всей многовёрстной приангарской долине беспрерывно и нудно тянул до самого конца марта жалящий хиус¹, а небо оставалось тяжёлым, провисшим, и казалось, что не бывать завершению этой лютой долгой зимы 1914 года. Однако одним апрельским утром в лицо по обыкновению спозаранок вышедшего на свой просторный дощатый двор Охотникова дохнуло смолистым запахом пригретых солнцем сосен, и он сказал, поднимая обветренное бородатое лицо к чистому небосводу:

– Дождались-таки вёснушку, родимую. Господи, помилуй, – троекратно перекрестился и поклонился Михаил Григорьевич на малиновый восход.

И несколько дней солнце так припекало, что глубокий, но уже губчатый снег стал спешно сходить, оседая и синё темнея. Гремели мутные ручьи, в логу на западном краю Погожего они свивались в быструю пенную реку, которая, сметая на своём пути навалы сушняка и суглинка, врывалась в Ангару и растекалась по её льду жизнерадостным грязевым тестом, словно Ангаре следовало под этим жарким солнцем испечь блин или пирог.

– Припозднилась Ангара – Масленица уж минула, – говорили пожилые погожцы, посматривая на развесёлое половодье, ожидающе и томно чернеющие поля и огороды.

– Ничё: блины уплетать завсегда приятно.

Вечером накануне Великого четверга Любовь Евстафьевна, чтобы большое скотоводческое хозяйство Охотниковых набиралось сил, стояло ещё крепче, по старинному поверью поставила под образами в горнице свежеиспечённый хлеб с плоской соли. Всей семьёй помолились, стоя на коленях перед ликом Богоматери.

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного, – своим солидным, но простуженным голосом произнёс Михаил Григорьевич и, расправляя сутулые широкие плечи, поднялся с колен. Все повторили за хозяином молитву и тоже поднялись с пола, застеленного разноцветными домоткаными дорожками.

Тонко, не по-деревенски сложенная восемнадцатилетняя Елена прикрывала губы ладонью – она улыбалась, нарушая общее торжественное, серьёзное настроение всей семьи. На ней было васильковое в белый горошек платье, утянутое пояском на узкой талии, в длинную русую косу были вплетены розовая и бордовая атласные ленты. От девушки веяло свежестью, задором.

– Ты чего, егоза? – с притворной взыскательностью спросила облачённая во всё чёрное и туго повязанная большим тёмным платком Любовь Евстафьевна любимицу-внучку, слегка подталкивая её из горницы: с глаз Михаила Григорьевича, который строго глянул на дочь.

– Баба, голубушка, а если я поем этого намоленного хлеба – не отобьюсь от нашего дома? – шепнула она в самое ухо Любове Евстафьевны, игриво сверкая глубоко посаженными глазами и проводя распушённым концом косы по носу и губам бабушки.

– Озорница ты наша! Энтот хлеб по кусочкам в Пасху коровам дадим, чтобы они, наши кормилицы, не отбились летом от стада, не заблудились да не сгинули. А ты что, тёлочка у нас?

– Ага, тёлочка, – льнула к бабушке Елена.

Они, минуя двор, вошли в пристрой: любили бабушка и внучка наедине пошептаться. От протопленной, недавно выбеленной печи лениво, ласкающе тянуло теплом. Обе присели на широкие полаты, застеленные пуховым матрацем и холщовой накидкой. На стене висела цветастая шёлковая китайка, изображавшая диковинные растения и мужчин с косицами и с мечами. Елена погладила китайку, в задумчивости опустила белую тонкую руку. Сидела молча, склонив

¹ Резкий, пронзительный холодный ветер.

голову. Любовь Евстафьевна смуглыми старческими, но ловкими пальцами скатывала овечью шерсть. Шуршало веретено. На лавке потягивался крупный рыжий кот. На стене мерно тикали красного дерева немецкие часы.

– Что, Ленча, загрустила? Неохота взамуж?

– Не хочу, – твёрдо сказала Елена, поднимая красивую гордую голову.

– Неужто вовсе не люб тебе Семён Орлов?

– Когда сватали – казалось, что люб. А теперь – не знаю.

– Семён – парень ладный, работающий. Слюбитесь, чай.

– А если не слубимся?

– Дети пойдут – слю-у-у-бят. Ишо как слубят!

– Я хочу сразу любить. Сильно-сильно любить! Чтoб сердце обмирало. Чтoб дух забирало так, будто с горки несусь.

– Ишь чего захотела. Сильно любить, голубушка, можно только Христа. А нам надо друг к дружке так относиться, чтобы Господа не гневить.

Но Елена прервала Любовь Евстафьевну, пристально и строго заглядывая с наклоном головы в её опущенное над рукодельем морщинистое лицо:

– А скажи: ты по любви под венец пошла?

– По любви, а то как же. – Бабушка положила на подол веретено, участливо посмотрела на взволнованную Елену: – Запуталась ты, дева?

– Не знаю, – резко ответила Елена, и в её зрачках остро вспыхнуло. – Сердце молчит. Молчит. Молчит. – Она уткнулась лицом в мягкое плечо бабушки.

Вошёл с улицы Охотников-старший – Григорий Васильевич, слегка припадая на пораненную в отрочестве правую ногу. С натугой стягивал, покряхтывая, грязный хромовый сапог.

– Давай, деда, помогу. – Елена стянула с него второй сапог.

Сели пить чай из бокастого начищенного самовара; хрустели сладкими сухарями. Старики вели неторопливый разговор о приближающемся посеве, о необычайно тёплой погоде, которая, несомненно, поспособствует обильному урожаю и нагулу скота. Елена затаённо молчала и рассеянно слушала. В её глазах было сумрачно и темно. Поцеловав стариков и пожелав спокойной ночи, ушла в основной дом-пятистенок. Там у неё была своя горенка.

В постели Любовь Евстафьевна, вздыхая, сказала мужу:

– Ленча-то, Григорий Василич, не по любви идёт за Семёна. Кручинится девка, переживает. Любви, говорит, хочу. Аж чтоб дух захватывало. Вона оно как!

– Ничё, мать, глядишь, через годок-другой слубятся-стерпятся, – хрипло покашливал старик. – Она – покладистая, славная девка... хотя учёная. А Семён – крепкий, тороватый хозяин, мастеровитый мужик. В купцы выбьется – пойдёт у них дело, некогда будет про всякие разные любви толковать! Как, скажи, такого молодца не полюбить? То-то же, старая! Спи!

– И я так же думаю... – Любовь Евстафьевна помолчала, а потом толкнула в бок тяжело, с всхрапами засыпавшего мужа: – А ты-то меня, что ж, хитрец старый, за мастеровитость взял али как?

– Али как, – зевнул старик, плотнее подкатываясь под мягкий бок жены.

Помолчали, слушая глухие паровозные гудки с железной дороги; она пролежала в двух с небольшим верстах от Погожего. Взлаяли собаки, но вскоре затихли. В конюшне у поскотины одиноко заржала лошадь.

– Тревожно мне за Ленчу, – вздохнула Любовь Евстафьевна, переворачиваясь на другой бок. – Шаткая она какая-то. Да и жизнь вокруг то туды накренится, то сюды.

– Михайла всё одно не отступит: ему приглянулся Семён, хочет вместе с ним стадо утрить, луга расширить, пахотной землицы на том берегу подкупить да ещё одну лавку открыть в Иркутске, кожевенную мануфактуру завести, а опосле, глядишь, и в купцы перекочевать купно. Михайла молодец. Болтают, война с германцем моёт начаться, – глядь, у нас важные

подряды пойдут на мясо да картошку. О-го-го, заживёт род Охотниковых! Да и сосватали уже, день свадьбы наметили. Орловы – крепущие, с такими не породниться – великий грех. Понимать, старая, надобно.

Глава 2

Утром Михаил Григорьевич распределил людей по работам, поругал конюха Николая Плотникова, обедневшего старого мужика, который весь вечер выпивал в своём закутке и не всем лошадям задал овса. Раздосадованный Михаил Григорьевич присел на завалинку во дворе, закурил самосадного табаку. Мимо проехала подвода, гружённая доверху навозом. Колесо телеги провалилось и застряло в щели между досок настила, и лошадь рванулась. Телега накренилась, и комья смёрзшегося навоза вывалились прямо перед ногами хозяина. Михаил Григорьевич крепко взял за шиворот потрёпанного козьего казакина работника Сидора Дурных, встряхнул:

– Я тебе говорил, собачий хвост, вывози через поскотину вкруговую?!

– Так ить короче, Михайла Григорич, – испуганно принагнулся Дурных, натягивая вожжи трясущимися руками.

Хозяин оттолкнул работника, подозвал мужиков, и все вместе приподняли телегу. Подвода благополучно выехала со двора. Дурных, не найдя поблизости лопаты, прямо руками быстро собрал в корзину вывалившийся навоз. Хозяин с неудовольствием смотрел на работника сверху вниз. Подошла Любовь Евстафьевна, осторожно сказала:

– Что-то, Миша, Ленча у нас поникла.

Но Михаил Григорьевич крикнул в кулак, не дал договорить:

– С утра в управе собрались мужики, достаточные да неимущие, хотят оттяпать у нас пойменные Лазаревские покоса. Бают, Охотниковы много хотят. А мы чего, мать, хотим? Сама знашь: работать да крепко стоять на земле. Крепко! – Тягостно помолчал, натянул на самые глаза заношенный выцветший картуз, встряхнул на плечах овчинную душегрейку, искоса, мельком, но остро взглянул на троих плотников-артельщиков, которые отёсывали брёвна для нового большого амбара. – Лазаревских я не отдам! Вот, вот всем! – повертел он фигой в сторону управы. – Мы ещё до японской заявили свои права на те понизовые земли, у нас тама тепере и пахотных двенадцать с гаком десятин, удобренных, холёных, нашим потом политых, и все годы мир помалкивал, волостные не заикались. А тута смотрите-ка – всколыхнулись, змеёныши! Позавидовали Охотниковым. Хотят устроить передел нагулянных земель! Меня мироедом, кулаком да шкурорёдом за глаза кличут. Вот и получают они у меня кулак... с дулей!

Но Михаил Григорьевич вспомнил о приближающемся Светлом Воскресении – отходчиво проговорил:

– Что ты, мать, про Ленчу баяла? Уже знаю, знаю: любви у неё нету к Семёну! О хозяйстве надо думать, а любовь – она никуды не денется.

– Оно конечно, Михайла Григорич, – нередко называла мать своего солидного строгого сына по имени-отчеству.

– С Орловыми нам во как надо породниться, – не прислушиваясь к матери, провёл Михаил Григорьевич по своему горлу ладонью. Крикнул артельщикам: – Кору-то подчистую сдирай, Устин! Вон с того боку сколько проворонил.

Плотник, низкорослый, но широкоплечий мужик, виновато улыбаясь, что-то ответил, но хозяин и его не слушал:

– Нам, Охотниковым, пора, матушка, разворачиваться в полную силу.

И зачем-то потопал своими добротной монгольской кожи сапогами с набойками по настилу, как бы проверяя его на крепость.

– Оно конечно, Михайла Григорич.

– Пойду в управу – накручу хвосты энтим сивым кобелям. Забыли, поди, кто в Погожем хозяин-барин? Сволочи! Дармоеды! Всё им революции подавай, а работать кто будет?! – Охотников тяжело перевёл дыхание. – Батя ушёл?

– Ни свет ни заря.

Вышла из дома жена Михаила Григорьевича, румяная, но темнолицая, с суровой задумчивой морщиной на высоком лбу, Полина Марковна. Ей было лет сорок, но казалась она гораздо старше. Твёрдым тяжеловатым шагом молча прошла мимо свекрови и мужа в коровник на утреннюю дойку, при этом поклонившись Любове Евстафьевне.

– Пошёл я, матушка. А ты вместе с Полиной присмотри-кась за скотником Тросточкиным: что-то мало, чую, он, собачий сын, задаёт поросётам кормов. Тощат животинка на глазах. Уж не уплыват ли картошка да крупа на сторону?

– Прослежу, прослежу, Михайла Григорич. Я тоже заметила: свиньи уже с месяц не нагуливают телесов.

Глава 3

По широкой центральной улице Погожего Михаил Григорьевич шёл медленно. Почтительно, но всё же сдержанно раскланивался со всеми, кто здоровался с ним первым, и притворялся, что не замечает тех сельчан, кто не хотел его поприветствовать; но последних было немного. Удручающе думалось о детях – Елене и Василии.

В прошлом году Елена окончила Иркутскую правительственную гимназию имени купца и промышленника Хамина, одну из лучших в Восточной Сибири, и должна была поступить в училище, однако Михаил Григорьевич воспрепятствовал дальнейшему обучению дочери. Он понимал, что хорошее образование – насущная необходимость, хотя сам закончил лишь церковно-приходскую школу. Ему, потомственному крестьянину, представлялось, что образование прежде всего должно способствовать в хозяйственных починах, особенно в торговле, и он ожидал, что Елена, закончив гимназию, станет для него, а потом и для своего супруга помощницей, стремящейся копейку оборотить в рубль. Однако дочь год от году всё дальше отдалялась от отца и всего охотниковского рода. Приезжая на каникулы в родное село, она порой небрежно могла сказать родственникам:

– Все вы тут заросли мхом. Закоснели. Так жить нельзя.

В гимназии она была одной из лучших учениц. На балах и праздниках сверкала не только своей рано вызревшей красотой и модными нарядами, на которые не скупился отец, но и умом, острыми словечками. Любила посещать драматический театр и одно время даже мечтала уйти в актрисы. Запоем, но беспорядочно читала. Ею увлекались гимназисты и кадеты, офицеры и господа из высшего света, но свою любовь она ещё не встретила и ждала её. Молчит, молчит, но внезапно на лице загорится беспричинная диковатая улыбка.

– Ты чего, Ленча? – насторожённо спрашивал кто-нибудь из родных или подружек.

– А? Так!

– Будто куда-то душой полетела.

– И полечу. И – полечу-у-у-у, если захочу! – закружится и громко засмеётся Елена.

– Не пугай ты нас, шалая.

Елена затихала, отмалчивалась, слабо чему-то улыбаясь. Михаил Григорьевич порой говорил жене:

– Какая-то у нас дочка вся не нашенская. Чужая... Фу, чего я буровлю! – Зачем-то говорил шёпотом: – А другой раз, знашь, побаиваюсь её. Не накуролесила бы чего, бедовая.

– Талдычила тебе, неслуху: не отдавай в город. Вот получи: девке голову заморочили всякие учёные-толчёные. Какая, скажи, из неё выйдет хозяйка? Всякие книжки мусолит дённо и ночью. Тьфу!

– Так ить как лучше хотел, – зачем-то разводил руками супруг. – Думал: пушай охотниковское семя ума-разума наберётся, в учёностях поднаторгет.

– Щегольство и пустое! Говорю тебе: ко греху ты девку толкнул, в беспутство. Оторвалась она от семьи, разорвала с нами пуповину.

Однажды отец хотел было забрать Елену из гимназии, но дочь порывалась убежать в тайгу за Ангару, отказывалась есть и пить. Отец отступил. Теперь уже около года Елена жила в родительском доме, но отчуждённо, замкнуто, как пленница.

– Ничё: взамуж отдадим – осмирет враз, – говаривал Михаил Григорьевич жене. Но Полина Марковна сурово молчала.

С Василием сложилось ещё хуже: также его отдали в город в учение, но с третьего класса гимназии он стал попивать, шататься по пивнушкам и кабакам, пропускать занятия, исчезать из квартиры, которую на Ланинской нанимал для него отец. Стал постарше – захаживал на щедрые, немалые родительские деньги, которые ему ежемесячно выдавались на проживание

в Иркутске, в ресторации, клубы, игорные дома. Однажды за вечер спустил около пятисот рублей, и отцу пришлось выплачивать. Другой раз Михаил Григорьевич выкупал своего беспутного сына из публичного дома – там он в страшном хмелю переломал мебель, побил швейцара и не мог расплатиться за услуги девки.

– Забирай из города, – строго и коротко велела Михаилу Григорьевичу жена.

Василия силой водворили в родной дом, потому что он около месяца скрывался от родительского гнева. Отец нещадно высек сына, продержал недели две в подвале, потом определил на конюшню. Однако другая беда прокралась – Василий близко сошёлся с пьющим, опустившимся конюхом Николаем Плотниковым. Как-то Полина Марковна сказала супругу:

– Наказаны мы, Михаил, Господом нашими же детьми. Феодора была непутёвой, и вот дети наши побрели тем же кривопутьем. Куда забредём? За что покараны?

Михаил Григорьевич сжал кулаки, отчаянно выкрикнул:

– Молчи, баба!

...Шёл Охотников по укатанной гравийке в управу, поскрипывал сапогами, держал руку за пояском, раскланивался с односельчанами, шурился на поля и огороды, и всем, несомненно, казалось, что крепко стоит он в жизни на ногах, неколебим и в вере, и в мыслях, и в делах своих. Но сумрачно было в сердце Михаила Григорьевича, тяжело он думал о детях: «Выправлю! А ежели не совладаю, так...» – но он не произнёс этого страшного слова «убью». Сжал зубы, пошёл ходче.

Глава 4

Род Охотниковых после многих лет бедной, неудачливой жизни к началу века стал многочисленным, и в иркутской, прибайкальской округе о братьях Михаиле, Иване и Фёдоре Охотниковых говорили: «Злые на работу, но приветливые к людям. На чужое не позарятся, но и своего не отдадут».

Василий Никодимыч, дед братьев, покинул с семьёй захудалую псковскую деревню в пореформенном 62-м году, отчаявшись выдраться из нищеты. Но и на чужбине, на лесоразработках в Олонецком крае, ему не подфартило: пять лет как отстроился, купил на заёмные деньжата корову, трёх лошадей, скарб, да случился великий пожар; он уничтожил посёлок и оборвал человеческие жизни. В огне погибла жена Василия, маленькая дочь, весь скот, а от избы осталась одна только исчернённая печь; упавшей балкой покалечило ступню сыну-подростку, Григорию, – всю жизнь припадал он на правый бок.

Василий запил, за неуплату заёма угодил в долговую тюрьму, но был оттуда выкуплен одним оборотистым мещанином с условием, что пойдёт в солдаты за сына этого мещанина. Григория с трудом определил к дальней многодетной родственнице, а сам вскоре был забрит в солдаты. Но и в солдатах Василию крупно не повезло: на полковых учениях разрывом картечи его тяжело ранило в грудь; мотался по госпиталям и наконец был подчистую уволен с медалью на груди и незначительным денежным пособием. Куда направиться – не знал. Но вспомнил об одном разговоре с раненым в руку сибиряком-гвардейцем:

– Сибирской земли – немерено, – говорил смуглый, с хитрыми раскосыми глазами сибиряк унылому, задумчивому Василию. – Приволок на поле колесянку, впряг лошадок и – о-го-го: захватываю столько десятин, на сколько силов хватат! Вспахал – всё моё, братцы! А покоса? Лесных и залежных – бери не хочу, но и стоящими пойменными, луговыми народ не обижен: мир делит их между едоками по справедливости.

– Что же, и бедноты нету у вас? – недоверчиво спросил Василий.

– Как же, служивый, нету! – усмехнулся сибиряк. – Любишь на печи подольше поспать – люби и лапу пососать! – загоготал он, похлопав Василия по худой спине.

Въедливо допытывал Охотников развеселого гвардейца о Сибири. Хотелось зажить по-человечески, сплести семейное гнездо.

Григория у родственницы он не застал – парня попрекали за скудный кусок хлеба, недолюбливали за вспыльчивый независимый нрав, нещадно секли, требовали работать за десятерых, и он сбежал, обосновался в подпасах в родной деревне, жил в шалаше, недоедал, дожидался отца. Василий застал сына отощавшим, но крепким парнем с твёрдым взглядом глубоких угрюмых глаз.

– Не согнулся? Молодец.

Василий купил по бросовой цене старую, но ещё дюжую лошадку, сбрую, телегу, получил в управе разрешение на переселение в Сибирь, а также выхлопотал небольшое денежное вспомоществование у государства. Переселенческих семей собралось около сотни, более трёхсот пятидесяти душ, и это была большей частью обезземелевшая, отчаявшаяся беднота, которая продала избу, скот и теперь имела только лошадь, повозку, кое-что из скарба и нетерпеливое желание лучшей доли. До благодатного места водворения добирались целое лето, некоторые до середины октября, преодолевая в день по тридцать – сорок изматывающих вёрст, останавливаясь для ночлега в поле, в лесу, дивясь диковатой чужой природе, присматриваясь к старожилам, их крепким бревенчатым строениям, высоким заплотам², возделанным огородам, лугам и пашням. Уже за Тюменью переселенцы стали проситься на постоянное жительство в деревни,

² Забор.

но не все старожильческие общества хотели принимать новичков, порой опасаясь стеснения в пользовании земельными угодьями. Но случалось, что и так отвечали:

– Вы, россияки, ненадёжный народ, шаткий. Мороки с вами много бывает. Ступайте дальше – где, поди, и примут.

– Какие ещё россияки? – сердито отозвался Василий. – Все мы русские, православные. Али вы себя уже русскими не почитаете?

– Мы сибиряки, – ответили ему.

– Ишь ты!

В одной деревне Василий с сыном хотел осесть, в другой, но везде мир назначал довольно высокую сумму за покупку приёмного приговора. Многие переселенцы вынуждены были водвориться рядом со старожильческими деревнями, основать новые; другим больше повезло – заключали-таки с ними приёмные приговоры, определяли на первое время на квартиру, выделяли в пользование пятнадцать и выше десятин всех угодий на душу мужского пола, помогали с инвентарём. Это были счастливы, которые и не чаяли столь удачно устроить свою жизнь.

Надвигалась осень, по ночам случались заморозки, понужали холодные дожди, дорогу вусмерть развезло. Лошадь Охотниковых пала ещё под Тыретью. Кое-как добрались до Усолья. У Василия от жестокой простуды открылась в лёгком рана. Из переселенцев оставалось всего двадцать три семьи, и они хотели непременно добраться до пограничных с Китаем земель, потому что там их ожидала хорошая ссуда правительства, которое поощряло заселение Амурской и Приморской областей, подмогало переселенцам не только деньжонками, но и скотом, инвентарём, строительным материалом.

Холодным туманным утром начала октября тронулись в путь к байкальской переправе. Василий уже не мог идти, и его приютил на своей подводе старый кузнец; он шепнул Григорию:

– Плох твой батька. Чую, на Байкале схороним.

Но не отъехали от Усолья и тридцати пяти вёрст, как Василий, всё крепившийся, стал помирать. Его мутные красные глаза подзакатались, а исчернённым смертью, перекошенным ртом он пытался что-то сказать сыну. Из-за серых, порубленных ветром туч выглянуло жданное, но уже не греющее солнце, густо и широко осветило ангарскую пойменную долину, нахмуренные сопки правого берега Ангары. Василий попросил, чтобы сын приподнял его голову. Кузнец остановил повозку, тихо, душевно выговорил:

– Благодать, братцы. Божья благодать, и только.

Василий угасающими глазами смотрел на Ангару и серебристо освещённую лесистую равнину; потом надрывно, страшно кашлял, теряя сознание, но успел сказать сыну:

– Тут и опочию... добрая земля.

И больше не очнулся, тихонько дышал.

Кузнец подбросил Охотниковых в ближайшее от Московского тракта село – Погожее, большое, окружённое берёзовой рощей с запада, плотным сосновым бором с севера, застроенное добротными бревенчатыми, нередко крашеными пятистенками с высокими заплотами и воротами, с амбарами и овинами. Село в полуверсте остановилось перед многосаженным каменисто-супесным обрывом, углом переходившим в широкий галечный берег, и небольшими окнами изб строго смотрело с холма на Ангару, неспешно катившую тугие воды к далёкому Енисею. За огородами и поскотинами тянулись холмистые пашни, перемежаемые лесками, балками, узкими безымянными ручьями. На правом берегу простиралась гористая тайга. На юго-восточной окраине возвышалась приземистая бревенчатая церковь; на просторной утоптанной площади, примыкавшей к тракту, стояли лавки, навесы базара, кабак и домик управы. Григорий сразу смекнул, что в таком селе люди живут крепко, и его сердце стало томительно чего-то ждать.

Кузнец помог занести стонавшего Василия на сеновал, неохотно предоставленный хозяевами.

Ночью Василий Никодимыч преставился.

Оставшийся совершенно без средств Григорий прошёл с шапкой по селу; потом маленький рыжий священник отпел отца в протопленной, наполненной домашним запахом душицы и ладана церкви. Схоронили Василия Никодимыча на приютившемся в сосновом бору погосте, на котором Григорию не встретилось ни одного покосившегося креста, ни одной провалившейся безродной могилки – всё было чинным, ухоженным и, казалось, вечным. Вечером Григорий, стараясь не прихрамывать, подошёл к самой богатой избе, постучался в высокие ворота, за толстыми тесовыми досками которых рвались с цепи собаки. Унимая или обманывая подступившую к сердцу тоску, шептал твёрдыми губами:

– Хорошая земля. Добрая.

Началась у Григория новинная жизнь.

Погожее – то есть расположенное в хорошем, удобном месте – было старожильческим притрактовым и одновременно прибрежным селом, основанным ещё после первой волны переселенцев в XVII веке. Земля, которой пользовались погожцы, была захватной – облюбованной и занятой тем, кто, быть может, первый её увидел, на неё ступил, заявил миру о своих правах на неё. И право первоначального завладения пахотной землёй соблюдалось погожцами неукоснительно, уважалось, хотя никаких бумаг, актов, крепостей ни первохозяин, ни его потомки не имели. Из земли переделу подлежали единственно сенокосные дачи, отведённые государственной властью в пользование сельской общине. Однако между крестьянами при дележе случались стычки: крупного рогатого скота и лошадей все имели полно, поэтому хотелось получить не только большую площадь покоса, но и получше, погуще траву на нём. Повздоровившие всегда приходили – под неусыпным доглядом мира – к полюбовному согласию, потому что и сенокосных земель было в округе тоже полным-полно. Волостная власть, писарь, или сам голова, или же тем более губернские чиновники были всегда довольны погожцами, потому что те в срок исполняли главное – повинности, а также уплачивали все причитающиеся сборы. Кто же не мог расплатиться – всем миром тому помогали; нерадивого, гулёвого могли высечь на базарной площади, приговаривая:

– Ивану – Иваново, царю – царёво!

На взгорке, невдалеке от Московского тракта, стояла деревянная церковь Сретенья Господня с обитыми медью маковками и кованым воронёно-блестящим крестом, видимым в ясную погоду даже с ближайшего иркутского семихолмия. Сохранилось предание, что этот тяжёлый крест принёс на себе из северной российской волости первый поселенец Игнат Сухачёв, испугав какой-то тяжкий грех. Говорили, что в новой земле ему хотелось начать чистую, праведную жизнь. Он же с другими переселенцами поставил и церковь. Погожцы слыли за людей набожных, и церковь никогда не пустовала, а в праздники собиралось столько народу, что не всех она могла вместить. На тех, кто подолгу не захаживал в церковь, посматривали косо, а то при случае могли и что-нибудь неприятное сказать в глаза.

Григорий Охотников не год и не два слыл в Погожем чужаком, «пришлым». Работал у богатого хозяина «по строкам», то есть был нанят на срочную работу, сезонную, однако этот срок растянулся около двух с половиной лет. Получал по три рубля в месяц, к тому же харчевался у хозяина, а зимой носил с его плеча старую шубу, валенки и шапку. Пахал, сеял, собирал урожай, бил шишку, охотился, валил лес, рыбачил. Хозяин был доволен Григорием, не хотел отпускать его, но парень неотступно держал задумку: зажить в полюбившемся ему Погожем отдельным и непременно крепким двором, обзавестись семьёй. Хозяин намекал ему, что готов отдать за него свою единственную дочь, но дебелая, молчаливая девушка пришлась не по сердцу Григорию. Ему хотелось жениться по любви, по взаимной склонности, чтобы пребывать счастливым до скончания своих лет.

Он полюбил дочь зажиточного вдовца Евстафия Егоровича Одинцова, но сватов не насмеливался засылать – страшился, что ему, бездворному, с насмешкой, а то и зло откажут. Любовь Одинцова была красивой, плотно сложенной девушкой с веснушчатым белым лицом, но узковатыми азиатскими глазами. Она ответила взаимностью Григорию, и они тайком встречались в березняке.

– Отец прознал, Гришенька, о наших вечёрках. Погрозились вторую ногу тебе покалечить.

Григорий не взглянул на девушку, хрипнул в сторону, сжимая за спиной ладони:

– Завтре поджидай сватов. Так-то!

– Гришенька! – испугалась Любовь. – Батюшка жутко зол. Он такой сильный, могёт нечаянно и повредить тебе чего. Лучше – убежим на прииска́.

– Нечего шалындаться по приискам, по всяким там клоповникам. Надо тута укореняться. Так-то!

Задумчиво посмотрел на просвет Ангара, в излом таёжной дали:

– Добрая тута земля. Ежели кто-то крепко встал на ней на ноги, то отчего я не могу? – Помолчал и, не ожидая ответа, примолвил: – Могу. Поняла?

Сватов и Григория продержали у высоких почерневших ворот, не приглашая в избу; потом всё жепустили, и Евстафий Егорович, складывая на стол крупные жилистые руки, сказал, прерывая рыжебородого, оживлённого друга Григория, рослого Холина Гаврилу:

– Вот что, сваточки дорогие, лишнего не будем балакать. Женишка мы знаем. Тепере увидали, не робкого он десятка. Однако за гольтьбу Любку отдавать не будем – вот вам наш бесповоротный сказ.

– Дайте год, Евстафий Егорович, – побелел скуловатыми щеками Григорий. – Будет у меня изба и земля, и капиталов скоплю.

Евстафий Егорович пристально посмотрел на бледного, но не спрятавшего свои глаза Григория, коротко и сурово – на обеспокоенную пунцовую Любовь:

– Ладом. Год и не боле: девка уже перезреват. А ежли проведу, что вы где-то вместе якшаетесь, – смотри, несдобровать обоим.

Поклонился Григорий в пояс и, не взглянув на Любовь, молча вышел, стараясь не прихрамывать.

Он давно подметил на правобережье бурятские сенокосные угодья, которые позволяли их рачительному хозяину тысячи голов откормленного, нагулянного скота перегонять на Ленские золотые прииски, получая крупные барыши. Эти угодья назывались утугами: луга огораживались, чтобы избежать потрав, и изобильно удобрялись навозом, который особым образом втирался в землю, а также орошались. И трава урождалась богатая, до чрезвычайности густая, преимущественно сочный, мягкий пырей. С одной десятины хозяин мог взять более трёхсот пудов сена.

Григорий одолжил денег, арендовал возле селения булагатских бурят несколько слабо унавоженных, но огороженных утугов, большой хотон – стайку³-загон из тонких брёвен, взял у бурят и русских на откорм стадо коров и бычков, на оставшиеся деньги купил коня, телегу, которую обустроил под жилище. Днём и ночью унавоживал утуги, выпасал скот на пойменных лугах; в июле скошил траву – на всю зиму хватило превосходного сена. Скот нагулял бока, потучнел. Одна старая бурятка помогала Григорию перегонять молоко; сыр, масло и творог он продавал в Иркутске. Спал то в кибитке, то рядом со скотом в хотоне. Весной вывез на утуги около четырёхсот подвод навоза. Летом общество выделило Григорию землю под избу, он нанял двоих мужиков, а сам управлялся со скотом вдалеке от Погожего. В октябре с товарищами угнал стадо на прииск, выручил столько денег, что смог сполна рассчитаться с кредито-

³ Помещение для домашнего скота, хлев.

ром, достроить дом, купить семь десятин пашни. В новых яловых сапогах, плисовых шароварах, белой атласной косоворотке и мерлушковой душегрейке явился со сватами к Одинцовым.

В этот раз возле ворот не держали, сразу выпустили в избу.

Обвенчались, через год Любовь разрешилась сыном, потом дочерью, а через десять лет детей уже было восьмеро. Однако двое умерли ещё во младенчестве, один утонул в Ангаре, подросток Кузьма сорвался с крутояра, чах и всё же умер. Выросли, встали на ноги четверо – старший Михаил, средний Иван, младший Фёдор с погодкой-сестрой Феодорой.

Пока подрастали сыновья и оправлялась после тяжёлых родов некрепкая здоровьем Любовь, Григорию приходилось тяжело. Лодку тестя опрокинуло волной на Байкале, старик страшно простудился, тяжело хворал и потому был ненадёжным помощником. Григорий занимался утугами, раз в три-четыре года ему удавалось продать небольшое стадо крупного рогатого скота на приисках. Разрослась пашня, однако пшеницы сеял мало – увидел большие выгоды в картошке, которая оказалась надёжным кормом для скота, в особенности для свиней, и на рынке бойко расходилась.

Исподволь Григорий Васильевич сделался самым крепким в Погожем хозяином. На него работало до десяти – двенадцати наёмных, строковых и годовых; имел лавку в Иркутске. С годами стал обладать такой силой в общине, что при очередном переделе стоящих пойменных лугов к нему отходили лучшие, и никто не возмущался, потому что знали: в случае чего Охотников поспешествует.

Евстафий Егорович умер уже глубоким стариком, перед японской. На эту войну угодили Михаил с Иваном; отец мог откупить сыновей от службы, однако не стал, сказал им:

– Послужите, сыны, царю-батюшке, коли я, убогий, не сумел. Дед ваш был солдатом – помните! Так-то!

В бою под Вафангоу Иван был тяжело ранен в голову, долго пролежал в госпитале Владивостока, потом служил в интендантской роте. Михаил после неудачного наступления армии Куропаткина на реке Шахэ был взят в плен, однако уже через два месяца бежал, мыкался по Маньчжурии, голодал, обморозил пальцы на ногах; весной вышел на русские позиции. Вскоре, отлежавшись в госпитале, попал в страшное Мукденское сражение; снова угодил в плен вместе с другими двадцатью двумя тысячами солдат и офицеров. Около двух лет он прожил в лагерях на Японских островах, но вернулся в Погожее крепким, здоровым, помолодевшим. Издали с подводы увидел высокий, с четырёхскатной крашеной кровлей родной дом, не выдержал, побежал к нему, припал небритой щекой к лиственничному венцу, вдыхал терпкий припылённый запах. За праздничным столом в кругу родных и односельчан уважительно, минутами восхищённо рассказывал о трудолюбивых японцах, о порядках и обычаях в диковинной заморской стороне, о необычной природе и животных, но потом, глубоко помолчав, добавил:

– Глаз любил, а сердце молчало. Так, братцы, хотелось домой, в родную землю!

Со временем Иван переселился на Байкал, в село Зимовейное, учредил рыболовецкую артель, поставлял копчёного и солёного омуля и другую рыбу в иркутскую лавку отца, на рынки слобод и посёлков; взял в жёны бурятку Дарью. Она родила Ивану трёх девочек с раскосыми глазами, но с мягкими волосами и светлыми лицами.

Отцом Дарьи был эхиритский бурят Бадма-Цырен Доржиев. Он не был крещёным, относил себя, по примеру своих умерших родителей, к буддистам, однако внешне придерживался, как и большинство приангарских бурят, русских православных традиций и правил, а в великие праздники даже хаживал в церковь соседнего старожильского села и накладывал на себя крестное знамение. Жил он с семьёй в большой юрте из пятигранных брёвен, которую год от году всё реже переносил, перегоняя скот с летников на зимники и – обратно: переходил на более выгодный оседлый образ жизни. Стал засеивать пшеницу, развёл смородиновый сад, рыл котлован под пруд, чтобы разводить на продажу карпов и сомов, пользовавшихся спросом на иркутских базарах и ярмарках. Бадма-Цырен прослыл за одного из богатейших в своём

улусном околотке, имел до пятисот голов крупного рогатого скота, табун монгольских лошадей, несчётно овец и коз; построил мельницу, и она время от времени приносила ему дохода девятьсот рублей в год.

Фёдор, младший, обосновался в доме тестя; тот владел небольшой, но доходной лесопилкой со столярным цехом-мастерской на правом берегу быстрой, сбегающей с Восточных Саян реки Белой, в деревне с тем же названием, которую просёк Великий путь. Его женой стала Ульяна, девушка суровая, высокая, крупной кости; с детьми супругам не везло – двоих родила Ульяна, но умерли они от глоточной ещё в младенчестве.

Старший сын, Михаил, остался с отцом, после плена принял на себя ведение обширного хозяйства. Григорий Васильевич, старея, понемножку отходил от дел, с радостью и гордостью отмечая, что сын надёжный, толковый хозяин; поселился с Любовью Евстафьевной в пристрое, который когда-то соорудил для женившегося Михаила, и отдал в его полное владение основной дом со всеми надворными постройками и заимкой в тайге.

Иначе сложилась жизнь невзрачной Феодоры – она несчастливо влюбилась в женатого иркутского купца и девкой забеременела. Григорий Васильевич вспыл и прогнал опозоренную падшую дочь из дома. Она скрылась в тайге на заимке, вытравила плод, но глухой ночью, не совладав с чувством отчаяния и тоски, серпом вскрыла себе вены. Опомнившийся отец всю ночь искал дочь в лесу и на заре обнаружил её, умирающую, на крыльце зимовья. Она лежала на плахах без чувств. Обливаясь потом, через чашобники, навалы камней и подгнившие гати, сокращая путь, выносил её на тракт.

После гнал лошадей безостановочно и безумно до самого Иркутска, и одна, коренная, в воротах больницы пала, но дочь удалось спасти. Феодора вернулась домой тихой, согбенной, постаревшей; подолгу молилась, а потом кротко попросилась у отца в Знаменский монастырь в послушницы. Григорий Васильевич не препятствовал, хотя к тому времени приискал для дочери жениха – немолодого, многодетного, но зажиточного вдовца из Плишкина. Через три года Феодора приняла постриг и была наречена Марией.

Глава 5

В небольшую избу управы уже набилось полно мужиков. Густо пахло самосадным табаком, овчинным пропотелым мехом, начищенными гусиным салом или гуталином сапогами. Было шумно, люди спорили, но глухо, не повышая голоса. Староста Григорий Васильевич одиноко сидел за громоздким, без скатерти столом с одной только чернильницей посередине и сердито смотрел на мужиков глубоко запавшими глазами. За его спиной с бумажной картинки пристально смотрел на собравшихся моложавый, с грустинкой в глазах император Николай II.

– Тебя ждём, Михайла, – с неудовольствием сказал Григорий Васильевич вошедшему сыну. Все замолчали и значительно посмотрели на Охотникова-младшего. – Где шатаешься? Тут покоса хотят перекроить... весь белый свет кверху тормашкой перекувырнуть.

– Кто? – уселся на лавку Михаил Григорьевич и приподнял бровь.

Многие из собравшихся были давними должниками Михаила Григорьевича: кто-то пользовался его молотилкой, жнейкой, кому-то он ссужал денег, сена или семян, кому-то, самым бедным, помогал зимой съестными припасами, одеждой, но никогда жёстко, наступательно не требовал возвращения долгов, если знал, что человек пока ещё не способен рассчитаться. Но уже не первый годок зрело среди погожцев недовольство тем, как разделена земля, особенно покосы: кто был богаче, у того и земля оказывалась лучше да ближе к Погожему и удобным путям. Михаил Григорьевич ожидал такого разговора, смутно побаиваясь чего-то.

– А хоть бы и я, Михайла Григорич! – повернулся к нему распахнутой из-под тужурки грудью Алёхин Пётр, мужик лет пятидесяти, из достаточных, имевший одиннадцать десятин пашни, пять лошадей, восемь коров; он ни разу не бывал в должниках у Михаила Григорьевича. – По какому таковскому праву ты владаешь лучшими покосами и каждый год всеми правдами и неправдами увиливаешь от переделов? Мы тоже хотим владеть доброй земелькой... благодетель!

– А по таковскому, по каковскому ты не сумеешь, – ответил Михаил Григорьевич, легко задрожавшими пальцами вынимая из кисета щепотку табака. – Лазаревские, к примеру, луга мой отец орошал не только водицей, но и своим потом горячим. Верно, батя? – Григорий Васильевич угрюмо промолчал, лишь мельком взглянул на сына, и на худой морщинистой шее старика вздрогнул кадык. – Спокон века мы унавоживаем луга – не захватные, а выделенные нам миром! – горячо продолжал Михаил Григорьевич. – А ить они тепере всамделишные утуга, только что не все огорожены. А ты, Пётр, хотя бы одну телегу назёму вывез на луга, орошал? То-то! Уж помалкивай!

– Я толкую не о навозе – о земле. У тебя, Михайла Григорич, столько добрых лугов, что ты могёшь запросто приращать своё стадо. А я, можа, тоже не прочь прикупить овец, коз да лошадей. Чем же мне их потчевать?

– Тебе в прошлом годе предлагало общество Терещенские пойменные – что же не взял, заочевряжился? Знатные там травы, пырей прёт как на дрожжах.

– Я пока до Терещенских доберусь – мхом обрасту. До них вёрст – немерено! По бездорожью, хлюпающими калтусами! Спасибочки! А до Лазаревской пади – рукой подать. Возьми себе Терещенские, коли любы они тебе, а Лазаревские мир пушай промежду другими едоками поделит, – усмехнулся в негустую, но волнистую бороду Алёхин.

– А назём соскребать с Лазаревских будешь ты и возвращать на мой двор?

– Я тебе, Михайла Григорич, про Фому, а ты мне снова про Ерёму! – густо покраснел закипавший Алёхин; осмотрелся, отыскивая в глазах собравшихся поддержки. Но люди осторожно помалкивали, не смотрели на Алёхина.

Сход длился недолго – работа дожидалась. Луга не поделили. Люди были недовольны и злы. Потихоньку, поскрипывая пересохшими за зиму ичигами и сапогами, вздыхая и жму-

рясь на яркое обещающее солнце, и последние старики разошлись. В управе остались Охотниковы; курили на крыльце под козырьком, посматривая на длинную, тесно застроенную крашеными домами и бревенчатыми заплотами двурядную улицу, по которой бегали радостные, стосковавшиеся по теплу и солнцу ребяташки и собаки. Пахло подтаявшим навозом, прелой прошлогодней листвой. Над сосновым бором вставал серебристый туман. Ангара на излуче взблёскивала начищенным, отточенным клинком. Гудел на Великом пути мчащийся на всех парах локомотив.

– Тревожно стало жить, однако, – сказал Григорий Васильевич, облачиваясь на лиственный потрескавшийся венец и посматривая на воронёный Игнатов крест над церковью. – Куды крутанётся ветреница через день-два? Алёхин – завидуший мужичонка, ить не может развернуться, как мы, вот и лютует, баламутит людей. А работник он говённый. В прошлом годе я видал, как он пашет: пройдёт борозду, оттолкнёт от себя косулю, лежит, греет брюхо на солнушке час-другой.

– Да нет, батя, работающий Пётр, – возразил Михаил Григорьевич. – Спиной он уж третий год мается.

Сжал губы и пристально смотрел в залитую светом даль, в которой мчался к Иннокентьевской паровоз с длинной вереницей вагонов, похожих на косяк перелётных птиц.

– Лазаревских мы имя не отдадим. Смерть примем, а не отдадим, – продышал после долгого молчания Михаил Григорьевич.

– Ясно дело – не отдадим, – отозвался Григорий Васильевич и, припадая на правый бок, сошёл по высоким ступеням крыльца на талый почерневший лёд, залёгший в тени избы. – Я в волости поговорю: писарь, мой давний должничок, заготовит нам хитромудрую бумагу. Нажитое горбом отдают дураки – так-то!

Пошли по улице. Григорий Васильевич, прихрамывая, отставал, на ходу заговаривал с сидевшими на скамейках и чурбаках стариками. Под ногами уже схватывалась пыль. Но по распадам правого берега и руслу Ангара ещё бродили холодные влажные ветры, залетали в село, и люди кутались в зипуны и телогрейки.

Ночью прогремел первый весенний гром, пугливой, но зеркально-яркой змейкой мелькнула молния, скрылась в гористой тайге правобережья. Дождь почему-то не пролился в Погожем и окрестностях, но поутру пахнуло влажными мхами: где-то, видимо, всё-таки лило.

– Травы будут знатные в нынешнем годе, – удовлетворённо говорили люди.

Глава 6

Мир был тих в церкви и вокруг. Сухонький, старый священник Никон, опиравшийся на суковатую палку, начал утреню Великой субботы. Его слабый голос звучал еле слышно, затухающе. Но люди слушали сердцем и всё слышали и понимали.

Елена, в ситцевом молочно-сером до пят платье и в мерлушковой безрукавной душегрейке, стояла рядом с отцом и братом Василием, крепким рослым парнем с кудрявыми, коротко стриженными волосами, в белой длинной рубаше. Душу Елены обволакивало какое-то густое, противоречивое чувство, и так оно было сильно, и так оно её увлекло, что девушка забывала креститься и кланяться вместе с отцом и братом и пристально смотрела на лик Христа. Ей показалось, когда она из тьмы улицы вошла в храм и встретила глазами с этой освещённой сальными и восковыми свечами иконой, что Христос улыбнулся ей. Она не поверила, но потом снова увидела на губах Богочеловека лёгкую кроткую улыбку. Она шепнула сосредоточенному отцу в самое ухо, невольно, как в детстве, как маленькая, дёрнув его за подол длинной холщовой рубахи:

– Батюшка, глянь: Христос, кажется, улыбается.

Михаил Григорьевич испуганно вздрогнул, вытянулся, как покойник. Потом сделал своё широкое бородатое лицо строгим, порицающе пошевелил густыми, сошедшимися на переносице бровями. Он не знал, как себя повести, что ответить на странную выходку дочери.

На звонницу взобрался горбатый дед Пантелеймон Ухов, и тихое морозное утро, искрасна позолоченное у таёжного окоёма зарёй, огласили полное звуки стопудового колокола. С Игната Сухачёва креста взвилась стая голубей и, сотворив большой круг над селом и Ангарой, вернулась на тот же крест. Люди стали выходить из церкви. Елене показалось, что голуби заинтересованно слушали колокольный звон.

По пыльному Московскому тракту пронеслась пара откормленных лошадей, запряжённая в таратайку – двухколёсный, обитый грубой кожей крестьянский экипаж, оставляя за собой весёлый, высоко взвившийся ворох прошлогодней жухлой листвы. Елена невольно стала смотреть вслед таратайке: ей хотелось так же куда-нибудь понестись, уехать, что-то переменить в своей жизни.

Михаил Григорьевич, важно покачиваясь на носочках блестящих, с высоким голенищем сапог, разговаривал о хозяйственных посевных делах с мужиками, которые почтительно выслушивали его. Василий и мать с освящённым куличом и яйцами ушли домой – дойка коров не терпит отлагательств даже в великие праздники. Старики Охотниковы ещё оставались в церкви, помогая служкам; к тому же они оба пели в церковном хоре, и перед самой главной пасхальной службой нужно было поточить, как выражался Григорий Васильевич, голоса. А Елена одиноко, отчуждённая ото всех, смотрела в пыльную неясную даль, зачем-то прижмурилась, хотя не понимала хорошенько, что же именно хотелось разглядеть.

– Доброго здоровьяца, Елена Михайловна.

Елена узнала мягкий голос Семёна, прозвучавший за её спиной, и не повернулась, а смотрела на бровку светлеющей за железной дорогой тайги. Семён зашёл с бока и неуверенно заглянул в глаза Елены.

– Здравствуйте, Семён Иванович, – ответила она, слегка качнув головой.

Утихли последние удары колокола. Семён, чтобы пристроить свои натруженные руки, без нужды расправлял кожаный пояс на рубаше, одёргивал широкий, недавно пошитый, но старомодный чекмень, переминался с ноги на ногу, поскрипывая сапогами.

– Что-то вы, Елена Михайловна, ноне грустная.

Елена подняла на жениха глаза и подумала: «Не люблю. Всё же не люблю. Искорки не нахожу для него в своём сердце. Неужели век вековать с ним, постылым?» Сухо стало в горле, тихо выговорила с некрасивой, смутившей её хрипотцой:

– Отчего же? Очень даже весёлая.

– Как? – переспросил Семён, склонившись к Елене, но тут же покраснел и отстранился: он был с рождения глуховат на одно ухо, стеснялся своего недостатка и всячески скрывал его.

Она повторила. Снова замолчали, не зная, что друг другу сказать. Из лога подул студёно и влажно, но одновременно ослепляюще засветило солнце, выкатившись из-за облака. Елена укрыла лицо козырьком ладони и встала боком к Семёну. Он, внешне спокойный, принял холодный порыв ветра и резкий блеск солнца, даже не сморгнул.

– Что же, Елена Михайловна, ни на волос я вам не люб? Встречаемся – вы грустная становитесь: вроде досадуете, что увидели меня.

Елена молчала, кутаясь в козью шаль, накинутую поверх косы. Упрямо смотрела вдаль, не различая предметов.

– Аль дружок у вас имеется, а я, нелюбый, поперёк встрял? Чего уж, бейте наотмашь – не жалеите!

– Нет, Семён Иванович, у меня дружка. А любимы, не любимы вы мною... так вам скажу: что родители наши решили, о том, выходит, не нам с вами порицать. Дело, известно, уже сговорённое.

Помолчала и особенным, глубоким голосом произнесла ненужное, но выстраданное:

– Сосватанная я, неужели забыли? Ни к чему о пустом судачить! Лучше порассуждаем о видах на урожай да о погоде, – усмехнулась она и снизу вверх взглянула в худощавое лицо высокого, но ссутулившего плечи Семёна.

– Значится, не люб, – склоняя голову, выдохнул он. Туго, на самые глаза натянул картуз, подобрал в грудь воздуха, но выпускал медленно. – Когда вы мне утирку подарили, на позапрошлой неделе – чай, помните? – у меня в груди надежда затеплилась. Напрасно надеялся? Али как, Елена Михайловна?

Елена промолчала, перебирала тонкими белыми пальцами ласковую козью шерсть.

– Руки у вас, гляжу, как у барышни.

– Отец жалеет.

– А я крепче буду жалеть! – близко подступил к Елене напряжённый, низко склонивший голову Семён. – В город переберёмся, я купцом стану. Вы всюё жизнь будете в белых платьях ходить, в кружевах утопать, холопы будут вам служить...

– Не люблю я вас, – побледнела Елена. Отвернулась от Семёна и сжала губы.

– Что? – крепко взял её за руку выше локтя. – Что?!

– Отпустите. Больно, – как вы полагаете?

– А мне не больно, значит?!

Подошёл, поглаживая бороду, довольный разговором с мужиками Михаил Григорьевич, приобнял за плечи дочь и Семёна:

– Воркуете? Ещё успеете за всюё жизнь.

Семён избегал встретиться неподвижными глазами с будущим тестем. Сухо, вполслова попрощался, сдвинув на голове картуз так, что он чуть было не упал на землю.

Отец и дочь шли домой вместе. Отчуждённо молчали. В голубовато-сизом, широко открывшемся небе разгоралось солнце, и день обещался быть горячим, сухим и долгим. Где-то в соснах неуверенно угугукнула одинокая кукушка и замолчала. По дороге скрипели телеги, возле дворов квохтали куры, взлаивали, завидя чужака, цепные псы, – жизнь продвигалась своим извечным ходом.

– Ласковое теля, сказывают старики, и две матки сосёт, а чёрствое – ни одной, – притворился хмурым Михаил Григорьевич, останавливаясь у ворот своего огромного, купеческого

размаха зелёного дома с высокой жестяной кровлей и четырьмя окнами на улицу, в палисадник с персидской сиренью и черёмухой. – Тебе с Семёном, может, век прожить вместе, детишек нарожать, внукам дать дорогу, а ты на него смотришь, будто не глаза у тебя, а ледышки. Ласковее надо быть, приветливее! Подумай, ежели он тебя невзлюбит? То-то же!

Потом в горнице мать внушала:

– Смири, доченька, сердце. Чему бывать – того не минешь. Всё в руках Господа. – И она перекрестилась на образа и пошептала обветренными губами молитву.

– Я, мама, смирилась. – Дочь лишь взглянула на образа.

– Смирренная? Не верю. Вижу: клоочет у тебя в груди.

– Пройдёт. Как болезнь.

– Семёна, вот увидишь, ты ещё полюбишь. Крепко-крепко полюбишь. Он не какой-нить городской ветродуй. Хозяин! Мужик! В купцы метит – во! – улыбнулась мать своим суховатым чалдонским лицом.

Дочь равнодушно, но чуть улыбнувшись, ответно качнула головой с распущенной косой. В горнице было тихо и прохладно. Постукивал маятник немецких часов. Вдоль стен стояли массивные дубовые стулья, резной, красного дерева комод, две застеленные салфетками этажерки с фарфором, графином и рюмками, у окна разлаписто росло в бочке пальмовое дерево. Между окнами висели фотографические, в тяжёлых коричневых рамах портреты почти всех Охотниковых. В углу блистал роскошный, украшенный белоснежными рушниками иконостас с зажжённой лампадой. Елене отчего-то не хотелось видеть этого устойчивого, десятками лет не изменявшегося быта родного дома. Мать пыталась завязать разговор, но дочь отмалчивалась, виноватая улыбка вздрагивала на её губах.

«Где ты, мой богоданный? Кто ты? Поймёшь ли, что и я твоя единственная?» – в постели шептала она, испуганно ощущая бьющую в висок кровь.

Глава 7

В тёплой звёздной ночи с тихими, но вдохновлёнными погожцами и жителями ближайших деревень Елена совершила крестный ход вокруг церкви, слушала дыхание людей, смотрела на звёзды, угадывала поблизости сосредоточенных и торжественно строгих мать и отца и всё улыбалась. Сердце ожидало чего-то большого, поворотного и непременно осчастливающего навечно.

Впереди хода, который возглавлялся священнослужителями и всеми Охотниковыми, нарастало пение:

– Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!... – И пока ещё робко и негромко шло от человека к человеку: – Христос воскресе! Воистину воскресе! – И голоса людей свивались со звоном колокола. Огненное, сверкающее хоругвями кольцо обвило церковь.

Елена ощутила на губах сначала показавшийся ей сладковатым привкус слёз.

– Христос воскресе, – шептала она, и словно бы только ей одной отвечали из темноты:

– Воистину воскресе!

Под ногами шуршала прошлогодняя трава и листва – Елена слушала и эту музыку жизни.

Потом посветлело. Раздвинулось небо. Стали гаснуть звёзды – с востока шёл новый день, он обещал больше весеннего тепла и света.

После обедни все Охотниковы вместе сошли с паперти и неспешно направились домой. Они часто останавливались и христосовались со встречными. Перед воротами дома Михаил Григорьевич остановился – задержались и все домочадцы. Накладывали крестные знамения, кланялись дому – так издавна было заведено у Охотниковых в Пасху и Рождество. И другие люди, проходя мимо, не могли удержаться – крестились и кланялись на их дом. И в самом деле было трудно удержаться – походил он на иконостас, богатый, любовно убранный: и ворота с калиткой, и наличники со ставнями, и фасад кровли с гребешком наверху, и палисадник, и даже завалинка были украшены искусной деревянной резьбой, покрытой белилами и красной охрой. Резьба была делом рук Григория Васильевича. Он – несомненно гордился – как-то сказал во хмелю, когда его резьбу похвалили:

– Ведомое дело: лик дома – душа хозяина. Так-то оно, братцы!

Но смутился, даже, кажется, покраснел и сердито прибавил, как бы оправдываясь, а сердясь, несомненно, исключительно на себя:

– Люблю, вишь, красоту. Душа просит её, совратительницу.

Елена, раньше не выделявшая этой кружевной красоты родного дома, привыкшая к ней с малолетства, любившая город с его каменными строениями в лепнине, сегодня неожиданно прозревающе и восторженно поняла, вместе со всеми крестясь и кланясь дому, что он прекрасен, что и в нём, и в пасхальном празднике заключено какое-то важное для неё обещание, какая-то надежда, которая непременно принесёт в её жизнь кружева счастья.

На разговение к завтраку в дом Охотниковых по предварительному сговору подошли Орловы – какой-то весь высушенно-старый Иван Александрович, его супруга Марья Васильевна, полная, румяная, с грубовато-широким лицом женщина лет шестидесяти, и сосредоточенный, торжественно строгий в длинной белой косоворотке Семён. Был накрыт стол с дымящимися в мисках пельменями, жареной сочной свининой, разнообразными соленьями и любимым Михаилом Григорьевичем тарасуном в глиняных кувшинах. Все удивлённо, как на незнакомого, нового человека, посмотрели на Елену, вошедшую последней в горницу. Она была в розовом сатиновом сарафане, её туго заплетённая коса с атласными белыми лентами спадала через плечо на узкую, но высокую грудь, а на плечах лежал шёлковый китайчатый платок с золотистой бахромой. Но удивились гости и домочадцы не одежде и косе, а необычно-

венному выражению лица девушки, которую в последний месяц, после сватовства, привыкли видеть унылой, грустной, раздражительной. Вся она – представилось собравшимся – светилась. Семён, растерянно улыбаясь, не сводил влюблённых глаз с невесты.

Елена, придерживая тонкими пальцами широкий подол, подошла к привставшему с табуретки Ивану Александровичу и сказала:

– Христос воскрес.

– Воистину воскрес, дочка, – троекратно её поцеловал будущий свёкор, недоверчиво и хитровато заглядывая в её чистые, влажно сверкающие глаза.

Потом подошла к Семёну, принаклонилась:

– Христос воскрес.

– Воистину... – Семён тяжело сглотнул и закончил фразу: – ...воскресе.

И они впервые коснулись друг друга губами, и он почувствовал, что губы её прохладны и тверды. Она присела рядом с ним, сложив руки на коленях и чуть склонив гордую голову.

Любовь Евстафьевна шепнула в заволосатевшее хрящеватое ухо супруга:

– Поди ж, оттаяла.

– На всё, старая, воля Божья, – потянулся в карман за кисетом растроганный Григорий Васильевич, но вовремя спохватился.

На беленых, оштукатуренных стенах просторной горницы лежали, подрагивая, большие солнечные блики, как блины, и Елена всё время завтрака смотрела на них и чему-то своему еле приметно улыбалась. Её душа была далеко.

Раскланиваясь и обнимаясь, Михаил Григорьевич проводил Орловых и пополудни стал собираться в дорогу. Игнат Черемных запряг в бричку мухортую молодую кобылу Игривку, дожидаясь у ворот хозяина, пил с мужиками тарасун и водку.

Ещё Михаил Григорьевич велел запрячь пару лошадей в телегу с крытым верхом, уложить в неё, сколько возможно, корзины и деревянные лотки под рыбу.

– Надобно, Полина, братку проведать, похристосоваться, гостинцев каких отвезть девчонкам, – сказал он жене, притворно-хмельно покачиваясь на носочках блестящих сапог. – Смотаюсь до Зимовейного, заночую тама. Поутру, на самой заре, поджидай.

– Грешно в такой-то праздник ехать, – коротко отозвалась Полина Марковна, любовно протирая рушником тульский самовар.

Она знала, что супруг не всю правду сказал, капельку sluкавил: главное, что ему нужно сейчас от брата, – забрать копчёную рыбу, которую Иван должен был ещё с неделю назад забросить в городскую лавку, но по какой-то причине этого не сделал. Михаил Григорьевич, сержая на своего, как он полагал, легкомысленного брата, подсчитывал в уме упущенные барыши: рыба, особенно копчёные хариусы и сиги, а также шкурки молодой нерпы – белька, приносили твёрдый доход Охотниковым.

– Понимаю, понимаю, что грешно, Поля. Но ехать надо, – вздохнул Михаил Григорьевич.

– Батюшка, возьми меня с собой, – попросилась Елена и, не дожидаясь ответа, надела овчинную душегрейку и повязалась широким козым платком. – В бричке хватит места!

Отец нахмурился, но отмахнул рукой. Вскоре бричка отъехала от дома, дробко простукав колёсами по бревенчатому мостку. За ней следовала подвода с весёлым, в красной рубаше Черемных, он беспечно размахивал вожжами: шеголял, несомненно, перед сельчанами удалю. В глаза озорно светило солнце. Нарядные праздные погожцы прогуливались вдоль главной улицы или стояли возле своих ворот, приветливо махали руками отцу и дочери Охотниковым, кланялись, зазывали в гости. Михаил Григорьевич тоже раскланивался, приподнимая картуз, но подгонял Игривку, без того шедшую летучей иноходью. За Погожим въехали в тенистый сосновый лес. Версты через три Михаил Григорьевич повернул кобылу с тракта на узкую, ухабистую дорогу, а Игнату крикнул:

– Поезжай пока один в Зимовейное, а мы нагоним тебя!

Черемных показал в хмельной улыбке белые, но кривые зубы, нащупал в соломе почти уже пустую бутылку с тарасуном.

Глава 8

– Глянем, доча, на Лазаревские луга: как они там перезимовали, родимые? – сказал Михаил Григорьевич взволнованным голосом и наддал Игривке вожжами. «И не дождутся, дармоеды, чтобы я отдал первостатейные луга», – подумал Михаил Григорьевич.

Вскоре завиднелись обширные Лазаревские луговины и приземистая, почерневшая от времени избушка с сараями, в которой жил одинокий работник Пахом Стариков; он заправлял пасекой Михаила Григорьевича, а также охранял луга, стога сена и вывезенный из тайги кругляк.

Пахом был ещё нестарым мужиком, крепким, рослым, но простоватым, незадачливым. Четыре года назад он покинул пивоваренный завод в Екатеринодаре и в числе переселенцев новой – столыпинской – мощной волны отправился в далёкую, настораживающую, но одновременно и манящую Сибирь; получил хорошие подъёмные. Россия крепла, упрочивалась, то и дело толковали, что тот-то и тот-то разбогател, сколотил капитал, развернулся, отстроился. Поговаривали, что в Сибири можно живо обзавестись деньгами, капиталцем, начать своё дело, особенно маслодельное или кожевенное.

В Иркутске, в Переселенческом управлении, Пахом, сам того не ожидая, получил личную ссуду – двести пятьдесят три рубля, оформил гербовые бумаги на право пользования отведённой ему землёй в шесть десятин. Можно было проворно развернуться на такие средства и относительно крепко зажить, срубив избу и прикупив скот и инвентарь. Но до места жительства, приленской деревни, Пахом так и не добрался. Отбилась от переселенческого каравана – какая-то лихая сила подтолкнула его в игорный дом на улице Большой. И за несколько угарных часов он остался ни с чем, даже сапоги просадил. Два-три дня без ясной цели бродил по Иркутску, пробовал побираться на рынках, но был задержан полицейскими и побит в участке. С документами у него оказался порядок, и он был отпущен со строгим наказом – больше не появляться на глаза властям. Сел на паперти Крестовоздвиженской церкви, но подавали ему не очень-то охотно: люди дивились, что такой здоровущий, внешне приличный мужик христардничают. Нищенствующих было всего два-три человека – инвалид без ноги да совершенно дряхлые старушки. На Пахома стало находить отчаяние, он клял себя, что так бездумно обошёлся с деньгами. Напился и спрыгнул в Ангару у Рыбной пристани – быть может, хотел утопиться. Но вода не приняла его – выплыл на каменистый берег напротив лавки Охотниковых. А тем часом из ворот вышел Михаил Григорьевич. Он давал своим строгим, но тихим голосом последние наставления приказчику Ивану Пшеничному, который слушал хозяина с почти полностью склонённой на правый бок смолянисто-чёрной и маленькой, как у вороны, головой. Оба удивлённо посмотрели на выбредшего из Ангары одетого, но босого здорового мужика.

Протрезвевший Пахом робко подошёл к Охотникову и Пшеничному, повалился в ноги:

– Не дайте сгинуть православной душе.

– Никак хотел утопнуть? – строго осведомился Михаил Григорьевич.

– Хотел, барин.

– Пошто так, сердешный?

– Вчистую обанкрутился. Захотел лёгких барышей. – И он вкратце поведал о своей безрассудной выходке с казёнными и личными капиталами.

– Чего же ты от нас хочешь? – подражая хозяину, взыскующе спросил Пшеничный, кладя короткие полные руки на бока. – Да встань, дурила!

– Работы, милостивцы, только работы.

– С таким азартным работником свяжешься, так и сам по миру вскорости пойдёшь, – сказал Пшеничный, искательно заглядывая в сощуренные, хитрые глаза хозяина.

– Будет тебе работёнка, бедовый человек, – неторопливо усаживался в бричку Охотников. – Пасеку я начинаю с вёсны.

– Милостивец, я ж самый что ни на есть пасечник! На заводе-то я промаялся всего ничего, а так всё с пчёлами у себя на Кубани, на хуторе Янчиковом! Люблю пчёл, ах, люблю!

Охотников уже года три искал настоящего пасечника, истого пчеловода, знатока этого тонкого, мудрого дела, но попадался народ нетолковый. А один наёмный, из ссыльнопоселенцев, так даже загубил пчелиные семьи и трусливо улизнул.

– Запрыгивай в бричку, – велел Михаил Григорьевич и перекрестился на зазвеневший с Богоявленского собора колокол.

Пахом и вправду оказался умелым пчеловодом. В течение зимы сам изготовил ульи, закупил в Заларях и Черемхове пчелиные семьи, и через три года пасека приносила Охотниковым около тридцати двух пудов мёда. Михаил Григорьевич уже намеревался с нынешней весны расширять её.

Пахом в длинной белой, с красным ярким шитьём рубахе подошёл к бричке, в волнении ожидал христосования.

– Христос воскрес, Пахом.

– Воистину.

Хозяин и работник облобызались.

– Что пчёлы?

– Слава Богу, как сказывал тебе наемни, Михайла Григорич, пчёлы перезимовали благополучно, вскорости улья начну выставлять вона в тех закутках. Ещё семью у черемховской артели прикупить бы: стоящи у них пчёлки, трудовиты!

– Прикупим, Пахом, прикупим, – осматривался Охотников. – Будем расширяться. Купцы уж на пятки мне наступают, а их теребят поставщики ажно из самого Петербурга. Славен, иначе, наш сибирский медок в Расеи.

– Христос воскрес, барышня, – неуверенно принаклонился к Елене Пахом, но она с ласковой улыбкой отозвалась, и они расцеловались. – Позвольте писанку преподнести вам, Елена Михайловна, – протянул он девушке на своей большой ладони расписанное тончайшими узорами бирюзовое яичко. Елена осторожно приняла подарок.

– Батюшка, что же мы преподнесём Пахому?

– Ваш батюшка меня и так своими милостями одарил сполна, – смущённо сказал Пахом.

– На задке брички, в схроне с сеном, пошарь-кась, дочка: штоф тарасуна преподнеси.

– Премного благодарен, премного благодарен, милостивцы вы мои, – неуклюже, но низко кланялся растроганный Пахом, принимая выпуклый штоф.

«Пока я силен да с капиталами – мне всяк готов угождать, – подумал Михаил Григорьевич, в котором снова пробудились сердитые чувства к людям, пытающимся отнять у него обильные Лазаревские покосы и пастбища, которые он и его отец холили. – А ежели ослабну мал-мало – загрызут, чай. – И мрачные чувства так поднялись в нём, захватили его душу, что он уже не помнил о Пасхе. – Вот выправлю бумаги на луга – на пушечный выстрел никого не подпущу к ним. Ишь, миром хотят меня задавить! Посмотрим! Охотниковская порода живущая, хваткая!» Пошёл лугом, ошетиленным подгнившей стернёй. Закинул руки за спину и по-стариковски сгорбился. Солнце уже палило. Стало по-летнему жарко. Пахло вощиной и мёдом вперемежку с горьковатым дымом: в сельце-хуторе Глебовке, видимо, жгли на огородах картофельную плохо просохшую ботву.

Пахом полагал, что хозяин войдёт в избу, потом оглядит ульи, инвентарь, о чём-то распорядится, за что-то незлобиво взыщет своим обычаем, но хозяин зачем-то дальше, дальше уходил по лугу, который двумя-тремя мягкими перекатами скрывался в придымлённой приангарской дали. Пахом помялся на месте с объёмным штофом в руках и покорно побрёл за хозяином, ожидая распоряжений.

Михаил Григорьевич издали сказал работнику:

– Всех, Пахом, гони с луга поганой метлой!

– Ась?

Охотников тяжело помолчал, беспечно, но жёстко растирал носком сапога словно бы окостеневший комок суглинка.

– Славные, говорю, Пахом, луга. Надобедь вона туё ложбинку под утуги огородить: люблю, вишь, бурятский манер!

– Сварганю! Пущай везут побольше назёму.

– Ожидай подводы. А вона за тем леском будем рубить хотон⁴ – на лето пригоним стадо коров с овцами.

– Сооружу, Михаила Григорич. Ты мне дай дюжего артельного в сопомощники – к маю тебе уже будет стоять хотон. Загоняй в него хоть три стада.

– Получишь и артельного, и тонкий кругляк. – Михаил Григорьевич присел на корточки, похлопал ладонью жёсткую землю, вдохнул ноздрями горящего дымного воздуха. – Важна, зараза, – выговорил хрипло, но нежно.

– Ась?

– Айда, говорю, во двор: покажи, справно ли хозяйство.

– Завсегда готов, Михаила Григорич, отчитаться по всем реестрам и табелям. – Молча вернулись к бричке. – Не желаешь ли, Михаила Григорич, медовушки отведать? С осеней стоит – накрепла, нагуляла хмеля.

– Угощай! Медовуха у тебя, Иваныч, знатная. Ленча, прибивайся к нам!

Расположились на узком, захламлённом дворе за грубо сколоченным столом-верстаком, пили холодную, шипучую медовуху из больших деревянных кружек, нахваливали Пахома.

– Бабу тебе, Пахомушка, пора завести, – наставительно-ласково сказал Михаил Григорьевич, враз выпив вторую кружку и громко крикнув. – С бабой-то крепче осядешь на сибирской земле, а то думка о Кубани, поди, не оставляют?

– С таким добрым хозяином, как ты, Михаила Григорич, мне и Сибирь – втройне Кубань. Сердце моё прикипело к этой земле. А баба... имеется одна бабёшечка, солдатка-батрачка с соседнего хутора.

– Грех... при живом-то муже... – подвигал бровями хмелеющий Михаил Григорьевич.

– Так на японской он сгинул у неё – ни весточки уж скока годов.

– Н-да, – задумчиво покачал головой Охотников, – японская поглотила православного люду – страсть.

– Поговаривают, на немца царь собирается войной.

– С немцем пригоже нам дружбу водить: он один нас, православных, по-настоящему понимает и ценит. Ну, за твоё здоровье, – поднял кружку и с наслаждением выпил до дна. – У-ух, хор-роша! Вот давай-кась оженяйся на своей солдатке, а станешь семьянином, окоренишься – возьму тебя в пайщики по медовому делу. Размахнёмся так, что мёд отселева будет по всей Расеи рекой течь, – подмигнул Охотников.

– На паях с тобой, Григорич, я завсегда готов! Да капиталов у меня, вишь, не водится. Я тут у тебя всё одно что беглый каторжник – прячусь от властей.

Елена тянула медовуху, рассеянно слушала отца и Пахома, смотрела в луга и улыбалась своим пьянящим мыслям: «Господи, Ты наполнил мою душу Пасхой, заронил в меня ожидание чего-то большого и радостного – так дай же мне, чего я хочу! Любви, любви! Снизойди!»

Девушке показалось – вслух произнесла эти сокровенные слова, и сердце её пугливо сжалось.

– Я тебе плачу? – притворяясь сердитым, спросил Охотников у Пахома.

⁴ Помещение для скота.

– Благодарствую, Михайла Григорич. Не забижаешь.

– Вот и копи – копейку к копейке, алтын к алтыну, целковый к целковому. А я тебе буду пособлять. Мне добрый работник ценней денег и злата-серебра! Ты для меня постарайся – я для тебя расстараюсь. Ничё – расплатишься с казной! И капиталы свои заведёшь! – Охотников вдруг крепко взял Пахома за рубаху, властно и низко пригнул его к себе и в самое ухо горячо шепнул: – Только будь мне верным... как пёс.

– Для тебя, Григорич, живота не пощажу. Ты меня знаешь.

– Будя, будя, – неестественно, тряско засмеялся Михаил Григорьевич, искоса взглянув на отстранённо сидевшую Елену. – Перепил я, одначе. Пора, дочка, трогаться в путь – засветло охота к братке попасть.

Елена направилась к бричке, но у неё закружилась голова, перед глазами поплыли луга, лесистые балки и огромное жаркое небо. Покачнулась, однако успела ухватиться за прясло.

– Сладко, а с ног валит, – растерянно улыбалась и встряхивала головой, с которой сползла на землю шаль.

– То-то же! – важно поглаживал бороду Пахом. – На вашу свадьбу, барышня, берегу бочонок: всем будет и сладко, и пьяно.

Глава 9

Когда стронулись, Елена попросила вожжи и погнала отдохнувшую, поевшую овса Игривку. Бричку могло опрокинуть на частых колдобинах и рытвинах. Отец супился, но не одёргивал дочь: его тоже захватила шибкая, устремлённая езда. Видел глаза напряжённой, всем корпусом подавшейся вперёд дочери – они горели каким-то жадным, ненасытным огнём, а жестковатые морщинки рассекали окологлазье: Елена сильно шурилась, словно бы пытаясь рассмотреть что-то крайне важное и значимое впереди. Но кругом на десятки вёрст стоял высокий сосновый лес, лишь изредка раскрывавшийся еланями. Далеко-далеко гудели на Иннокентьевской паровозы.

– Ух, девка-сорвиголова! – весело бранился отец.

По узкому деревянному мостку переехали на остров Любви, потом на заставленном телегами, полным народа и лошадей плашкоуте⁵, который жутко скрипел и потрескивал, переправившись на правый берег Ангары. По реке уносились вдаль хриплые простуженные голоса плотогонов, густой сажный дым парохода. Минули громоздкие, неухоженные Московские триумфальные ворота. Полюбовались издали изящной, похожей на сказочный теремок Царской беседкой, рельефными и зелёными, как роскошные кроны, куполами величественного Казанского собора, поклонились ему, накладывая крестные знамения. Ехали по улице Ланинской – вначале изысканно-городской, с нарядными церквями, гимназиями, духовным училищем и семинарией, кичливыми купеческими особняками, а дальше – как бесконечная, но тихая идиллическая деревня. Елена, тоскуя, часто поворачивалась на голубеющую родную гимназию, пока та совсем не скрылась за домами и заборами.

Вскоре выбрались на Байкальский тракт, накатанный, широкий, но нередко обрамлённый по левую руку скалистыми, срезанными у подножий холмами. С Ангары приходили волны свежего, напитанного влажным снегом ветра. Началась размахнувшаяся на десятки вёрст Ангарщина – небогатые сёла вдоль тракта. Здесь не было полей, знатных сенных угодий, и народ в основном жил огородами, тайгой да рыбным промыслом.

Обогнали весёлого, пьяненького Черемных; ему ещё долго тащиться в своей телеге, может, до ночи.

За вытянутым в одну улицу Николой с его высокой деревянной почерневшей часовой ярко и приветно взблеснула у истока Ангара. По левому гористому берегу от порта Байкал, оглашая округу трубным глухим свистом, по железной дороге потянул в сторону Иркутска длинный красный состав с чёрным локомотивом, и Елене с неприятным чувством показалось, что он вбуравливался в синюю плотную тайгу, что-то собою нарушая гармоничное и вечное. Хлопая крыльями по воде, размётывая пену и радужные брызги, поднялся в воздух целый табор хохлатой чернети и крохалей, медленно полетел к ледяному безмерному полю спящего Байкала. Стало студёно. Вечерело.

Когда Елена увидела Байкал – закрыла веки, потом резко открыла. Девушке показалось, что снова, как от медовухи, у неё закружилась голова. Ангара шумно вырывалась из Байкала, пенилась, сверкала у Шаманской скалы, падала с порога тугим, налитым жизнью и страстью молодым телом.

– Стоит Камень-Шаман, стережёт Ангару-проказницу. – Отец принял из опущенных, вялых рук задумавшейся дочери вожжи и надал ими перешедшей на шаг Игривке.

– От чего же камень стережёт реку?

Отец нехотя ответил, подгоняя лошадь:

⁵ Плоскодонное несамоходное судно для перевозки грузов.

– От соблазнов, верно. Несчётно, дочь, их ноне развелось, особливо в городах. Шатается жизнь. Человек ищет не спасения, а греха. Греха! Смутное время наступат. Чую, – вытянул жилистую шею отец, как бы всматриваясь в даль. Замолчал, как бы утаился. Елена задумчиво смотрела на отплывающие от белого байкальского поля некрупные, розовато отливающие льдины; а их утягивала за собой неуёмная Ангара.

Глава 10

Долго ехали по Лиственничному, раскрылённому вдоль пологого каменистого берега. Потом перед дочерью и отцом поднялись слева горы, закрывая небо на четверть или даже больше; у суглинистых, подрезанных подножий лепились избы, поскотины, надворные постройки, навесы с ботами, карбасами (баркасами) и лодками помельче, рыболовецкими снастями. Тешила глаз Михаила Григорьевича добротная пристань, верфь с пароходами, рыбацкими и купеческими судами, гомон рабочих, которые дружно тянули канат. Почти на самой окраине Лиственничного свернули в другой распадок, узкий, глубокий и туманный, как горное ущелье. Петляя, добирались до Зимовейного вёрстами тайги, глухомани.

Остановили Игривку у большого высокого пятистенка с четырёхскатной жестяной крашеной кровлей, расположенного всего саженьх в ста пятидесяти от вздыбленной торосами и большими обледелеными камнями кромки Байкала. Дом, оштукатуренный по фасаду – не в обычаях глубинной деревенской Сибири, – был выбелен розовой известью и смотрелся развесёлым, пухлым, здоровым ребёнком. Его украшали резные белые наличники и карнизы; но с иконостасом дом Ивана, как дом Михаила Григорьевича, однако, никто не сравнивал: во всём его облике чувствовалась какая-то вольность, беспечность, озорство. Он резко выделялся среди других домов маленького Зимовейного – сереньких, приземистых, с махонькими окнами. С огорода и со двора дом был облеплен многочисленными пристройками, клетушками. На берегу ютились навесы с лодками и скарбом. По улице прохаживались нарядные люди, издали почтительно раскланивались с Михаилом Григорьевичем. У кабака, почерневшего и накренившегося, но с красной щеголеватой вывеской «Мулькин и К», кучились мужики.

Игривку Михаил Григорьевич привязал к высокому, но с крупными щелями забору. Во дворе свистели, цокаяще отплясывали, незлобиво бранились. Пищали дети, блеяли овцы и козы, и где-то у поскотины в стае голосисто и дурковато кукарекал петух.

– Содом и Гоморра сызнова, – сказал Елене раздосадованный Михаил Григорьевич, вытягивая, как гусь, налитую шею. Неуверенно приблизился к воротам, покосившимся, но выкрашенным в лиловато-зелёный колер. – Поди, Ванька уж недели две-три празднует Пасху с друзьями да всяким сбродом, а ноне на всю катушку разговляется... паскудник.

Елена подумала: «Вот где люди живут, а не притворяются, что живут».

Во дворе увидели цветистую людскую россыпь, застеленные белыми скатертями столы с закусками, штофами и четушками, кувшины с пивом, скрипящий граммофон с помятым рупором. Казалось, что всё двигалось, сходилось, расходилось, сталкивалось или даже куда-то катилось и рассыпалось. Брат Иван – моложавый и крепуций – в широкой длинной кумачовой рубахе, как пламя, всклокоченный рыжевато-седыми волосами, на которых как-то ещё держалась съехавшая на затылок радужная шапочка, похожая на ермолку, подбежал, пританцовывая в козловых, стянутых на низ заливчатской гармошкой сапогах, к Михаилу Григорьевичу с распростёртыми руками. Тычась раскрасневшимся лицом с короткой бородкой в строгое, незаметно уклоняющееся волосатое лицо брата, скороговоркой говорил, съедая окончания:

– Христос воскрес, братушка! Христос воскрес, родной! Христос воскрес, кормилец!

– Воистину... воистину... воистину... – не поспевал за летучей речью брата и ворчливо отзывался Михаил Григорьевич.

Только отпрянул от него брат, так сразу наскочило несколько человек, весело отвоёвывая себе возможность похристосоваться со знатным уважаемым гостем первым. Но Михаил Григорьевич сначала подошёл к священнику Никольской церкви отцу Якову, молодому, важному. Они солидно, с большим взаимным удовольствием облобызались.

К Елене подкатилась Дарья в цветастом пышном сарафане и, заглядывая в её лицо лукавыми азиатскими глазами, сообщила с подмигиваниями заговорщика:

– Глянь, Ленча, скока сѣдни ухажѣров слетелось на наш двор! Вот ссыльный, кавказец, так и впился в тебя гляделками! Хошь, сведу? Они, кавказцы, шельмецы, горячие.

– Христос воскресе, Даша, – спешно перебила хмельную тётку девушка, смущаясь и боясь – не услышал бы отец. Они без взаимного интереса коснулись друг друга щеками, изображая поцелуи. Елена отчего-то стремилась рассмотреть – краем глаза – человека, на которого указала словоохотливая Дарья как на кавказца.

Высокий, с холодными отчуждёнными глазами, смуглый молодой человек внимательно смотрел на Елену и был среди всеобщего веселья и хмеля серьёзен и напряжён. На нём влито сидел плотный шерстяной пиджак, совершенно городской и, кажется, весьма модный. Выделялась белоснежная, со стоячим воротничком и чёрной маленькой бабочкой сорочка. На поясе холёно поблёскивала серебряная цепочка от часов. На его закинутых одна на другую ногах были не сапоги, а туфли с модным узким носком и сталистой бляшкой. Он курил длинную папиросу, держа её двумя пальцами в несколько театрально приподнятой руке. Казалось, он был абсолютно независим от обстановки, но в то же время – не враждебен окружающим, тому, что происходило вокруг.

Елена и незнакомец на мгновение встретились взглядами, и она сразу отвела свои глаза: чего-то испугалась или, казалось, обожглась или укололась.

– Ай, зарделась, ай, не проведёшь меня, девка: приглянулся ить! – шептала в её ухо Дарья, игриво щипая за бока. – Я тоже иной раз млею перед мужиками... а своего, не подумай чего, люблю-у-у-у! Ну, посмотри, посмотри на него ещё разочек: хочет он, рази не чуешь, шельмовочка ты моя сладенькая!

– Прекрати, – отталкивала назойливую тётку Елена, ощущая внутри странный, почему-то пугающий и отчего-то нарастающий жар. Помолчала, не отваживаясь спросить, но всё же полюбопытствовала: – Кто он такой, откуда? Раньше я его у вас не встречала.

– Грузин, за политику сосланный. Кажись, через год срок заканчивается. Виссарионом кличут. Уй, сурьёзный! А работник какой справный! Но белька бьёт и, сказывают мужики, пла-а-а-чет.

– Плачет? – зачем-то переспросила Елена, пытаясь ещё раз взглянуть на Виссариона, но при всём том не смогла осмелиться посмотреть открыто. Тайным полувзглядом видела его. Он по-прежнему сосредоточенно смотрел, не скрываясь, на Елену.

Дарья мягким боком подталкивала Елену к Виссариону:

– Да похристосуйтесь вы! Виссариоша! Ты, как и я, нерусь, а православные мы, небось, – иди-ка похристосуйся с дорогими нашими гостями! – крикнула Дарья.

Глава 11

У Елены, показалось ей, внутри оборвалось. Виссарион не спеша загасил папиросу, медленно поднялся с лавки и направился к Елене. Она тайком ударила Дарью кулаком по спине, но та с гоготом засмеялась, выказывая кипенные крепкие зубы.

– Христос воскресе, – тихо, с диковинным для Елены звучанием инородного голоса произнёс Виссарион, почтительно склоняя к девушке голову.

– Воистину...

Но второго слова Елена не смогла произнести: в горле пересохло, сковалось. В висках постукивало. Лобызаясь, она ощутила лёгкий запах одеколona и дорогого, сладящего табака. Из всего его облика она увидела почему-то только лишь большой блестящий глаз, как у коня, и длинный завитой волосок в чёрных густых, словно бы мех, бровях. Елена спешно отошла, подхватив под руку свою разбитную тётку, к кучке детей, среди которых были три её двоюродные сестры – погодки-подростки, очень похожие друг на друга худобой, прямыми волосами и узковатыми азиатскими глазёнками. Их звали Глашей, Лушей и Груней.

Виссарион попытался подойти к Михаилу Григорьевичу, чтобы похристосоваться, однако же тот притворился, что не замечает его, отвернулся, покашливая как бы предупредительно.

Сёстры повисли на обожаемой ими Елене, целовали её, щипали, наперебой рассказывали последние семейные новости. Елена, притворяясь, что это получилось случайно, посмотрела на Виссариона, который сел на прежнее место. Его полные, сочные губы тронула улыбка, она сползла на узкий бритый подбородок, который как будто сморщился. Снова стал выглядеть строгим, отстранённым. Елена вдруг подумала: «Похож... да, да, похож... на... Христа с той иконы в нашей церкви. На Христа, который улыбался мне». Девушка замерла, неясный испуг холодновато-влажно скользнул по её душе. Однако девочки не давали покоя, куда-то тянули за собой, тормошили.

– Что там у тебя за черкес сидит, как фон-барон? – брюзгливо спросил Михаил Григорьевич у брата после христосования со всеми желающими, присаживаясь к самому большому, богато накрытому столу. Он видел, как Виссарион и Елена христосовались, и был этим обстоятельством крайне недоволен и раздражён. Рассеянно принял из рук Ивана наполненную до краёв чарку с водкой.

– Нашенский, православный хлопец, грузин благородный. Правда, какой-то архчист али арничихтист, тьфу, прости Господи, запамätовал слово! Дарька, подскажь! – толкнул он в бок сидевшую рядом счастливую до последнего волоска Дарью.

– Антихрист... ой! батюшки! А-на-хер-тист, ли чё ли, – серьёзно выговорила по слогам, но тут же захохотала Дарья.

Михаил Григорьевич, мелко, как бы украдкой, посмеиваясь, искоса взглянул на сидевшего в отдалении Виссариона. А Виссарион всё смотрел на Елену.

– Анархист, – снисходительно подсказал отец Яков, аппетитно закусывая куском жареной с луком говядины.

– Во-во, батюшка! – чему-то обрадовался Иван. – Анархист.

– Да не я, сын мой, анархист, а твой артельный! – скованно засмеялся отец Яков.

– Все они одним миром мазанные – нахеристы! – ворчал, хмелея, Михаил Григорьевич, в бороде которого запутались завитки лука. – Бунты, революции имя подавай. А пошто? Для забавы! А работать, гады, не хотят.

Иван приобнял Михаила Григорьевича:

– Фуй, разворчался, братка. Виссариоша, говорю тебе, дельный мужик. Отбывал он ссылку в Якутии, но через каких-то своих именитых рожаков добился перевода сюды. Вот при-

нял его в артель. Работник он всамделе – во, хотя из белоручек, аристократьёв. Сполнительный, тихий, поперёк слова не молвит, а чую – силён он духом, крепок какой-то задумкой.

– Хорош, не хорош, а на чёрта похож, – не дослушал брата Михаил Григорьевич и одним махом выпил из чарки, занюхал копчёным омулем. – Ты почему с отправкой рыбы и бельковых шкурок задерживашь? Лавка пуста, да с приискóв, с Витима, наезжал ко мне приказчик Козлов Гришка – просит подводу-другу копчёностей, особливо сигов.

– Прости, брат, загулял малёхо. Ты меня знашь – могу пуститься во все тяжкие, но работу не забываю. Накопил сига и омуля стока, что тебе две надо было гнать подводы. И белька уже набили изрядно, шкурки выделали – можно везть в Иркутск, по ярмаркам распахать.

– Всё тебя понукай и взнуздывай, как стоялого мерина. Пора бы, Иван, остепенеть.

Глава 12

Иван неожиданно встал, расправил по тонкому сыромятному ремешку свою красную, пламенеющую рубаху и полнозвучно запел:

– Посеяли девки лён, посеяли девки лён...

Его артельные мужики поддержали, перекрикивая друг друга, дурачась:

– Ходи браво, гляди прямо, говори, что девки лён посеяли в огород! Ходи браво, гляди прямо, говори, что в огород!

А Иван – ещё громче:

– Во частенькой, во новой, во частенькой, во новой...

Добровольный хор подхватил хрипатыми голосищами, словно бы неподалёку стрельнуло из пушки:

– Ходи браво, гляди прямо, говори, что во новой!

– Повадился в этот лён, повадился в этот лён... – подмигивал Иван, озорно сверкая круглыми воробыными глазами, и похлопывал по широкой тугой спине брата, который всё же улыбнулся.

– Ходи браво, гляди прямо, говори, что в этот лён! – кричал хор. Одновременно люди чокались и выпивали из рюмок и чарок.

– Детинушка, парень молодой, детинушка, парень молодой...

– Ходи браво, гляди прямо, говори, что молодой!

– Красный цветик сорывал, красный цветик сорывал...

– Ходи браво, гляди прямо, говори, что сорывал!

– В Байкал-море побросал, в Байкал-море побросал...

– Ходи браво, гляди прямо, говори, что побросал!..

Подпевать стали даже задумчивый отец Яков и всё ещё сердитый на брата Михаил Григорьевич. Раскрасневшаяся, похорошевшая Елена затаённо сидела рядом с отцом и ощущала странную, нарастающую дрожь внутри. Еле слышно, отстранённо, будто была одна, подпевала, но что-то другое. «Наверное, простыла», – подумала она, страхась поднять глаза и взглянуть на того, которого, казалось ей, только и видела сейчас. Виссарион, чувствовалось ею, словно бы сидел перед самыми её глазами, и она видела каждую чёрточку его необычного, притягательного восточного лица.

– В своей жёнке правды нет, в своей жёнке правды нет... – пел, перемахивая на бас, Иван, подзуживающе подмигивая Дарье, а она весело щипала его ниже спины одной рукой, другой же норовила хлопнуть ниже живота. Иван уворачивался, и достаточно успешно, и Дарье удалось только раз ударить супруга по его тугому грушевидному брюшку.

– Ходи браво, гляди прямо, говори, что правды нет! – на особенном подъёме проголосил хор, с плутоватостью заглядывая друг другу в глаза, подмигивая и разводя руками.

– Ух, греховодники, – улыбочиво бурчал отец Яков, наливая себе и соседу водки. – Сатанинское племя, чёртовы дети!

– В чужой жёнке правда вся, в чужой жёнке правда вся! – тоже по-особенному торжественно пропел подтрунивающий Иван, прижимая к своему боку податливую, непокрытую голову Дарьи.

– Фуй ты, кобель сивохвостый, жеребец недоенный! – грозно поднялась смеющаяся Дарья и стала дробно, как заяц по пню, колотить мужа по спине.

Но Иван подцепил супругу на руки и стал кружить. Сбивал посуду её ботами и подолом, который размашисто взвивался кружевами.

Все хохотали, указывали на супругов пальцами, наливали водки и вина. Кто-то сбросил с пластинки иглу, которая впустую с шипением и скрипом тёрла её, кто-то взял тальянку и всюю

растянул выцветшие меха. Плясали все, кроме отца Якова; он перебирал чётки, но посмеивался; и ещё Виссарион сидел особицей. Он много курил и так же пристально смотрел на Елену. Сияющие женщины кокетливо размахивали цветастыми широкими платками, поводили плечами, перемигивались. Мужики лихо приседали, подпрыгивали, под ними трещал настил и взвивалась пыль. Коза, сидевшая на привязи за низким частоколом, высунула через верх бородатую глупую голову во двор и блеяла, словно напрашиваясь в общую пляску. Прыгали и восторженно повизгивали две собаки, которые сидели на коротких привязях возле будок.

Допоздна продолжалось в доме Ивана веселье с громом смеха, свистом, шутливыми драчками.

Глава 13

Елена не могла уснуть, думала, тревожилась. Отовсюду доносился храп, тяжёлое дыхание крепко выпивших мужиков; многие из артели Ивана жили в его просторном, гостеприимном доме. Пахло свежей и копчёной рыбой, дублёными кожами и хлебным квасом из бочонка, стоявшего в сенях. Постель была не очень свежая, Елена, привычная к чистоте, вертелась, нащупывала на взъёмной пуховой перине – не ползёт ли клоп или таракан. Мысленно ругала Дарью, а та с бодрым посапыванием спала в сарафане под боком, положив на грудь Елены руку. Потом девушка стала засыпать, однако внезапно очнулась: на неё внимательно и страстно смотрели чьи-то чёрные неясные глаза.

Поняла – привиделось. «Господи, спаси и сохрани», – пыталась молиться, но желание всмотреться в эти нездешние глаза одолевало, и она всматривалась в потёмки душевной горницы, набитой народом, который почивал на полу в лёжку. Глаза исчезали, таяли, как льдинки, и Елену снова утягивал смятенный, не освежавший сон.

Перед самым рассветом Елена очнулась и уже не смогла и не захотела уснуть. Кто-то натягивал сапоги, ворчал. Дарья ушла, чтобы собрать завтрак для отправлявшихся бельковать. В тёмном дворе слышалась неторопливая, тягучая, как смола, мужская речь. Елена накинута на плечи шаль, выглянула из-за края занавески и увидела освещённых керосиновым фонарём отца, Ивана, Черемных, ещё нескольких артельных, а среди них – Виссариона, одетого в плотную, с подстёгнутым овчинным мехом брезентовую куртку, высокие сапоги. Его голову покрывала барашковая шапка, низко надвинутая на глаза. Артельные и Виссарион загружали в подводу корзины и пеньковые кули с рыбой. Все хмуро-деловиты, молчаливы.

Елена приоткрыла окно и, привстав на цыпочки и вытянув шею, стала всматриваться в Виссариона. «Красивый. Непонятный. Семён – другое, другое».

Братья вполголоса разговаривали.

– Шкурка белька тепере может подняться в цене – до соболиных, поговаривают, взмахнёт, – похрипывал Михаил Григорьевич, строго взглядывая на грузчиков и Черемных, который укладывал корзины. – Игнашка, зараза! кулями вона те корзины припри: чуть тронешься – и потеряешь всюё снасть, капитан ты разбубённый. Всё вас тыкай носом, сами-то ничё не видите.

– Сей минут, Михайла Григорич, поправим, – сипло и с неудовольствием отвечал Черемных, страдая от перепою мучительной головной болью.

– Без белька в энтим годе уже не останемся, Миша, – сказал Иван, поправляя на подводе корзину, хотя она и без того стояла удачно. – До ледохода возьмём знатно. А вот пару лодок надо ноне сладить: из тех трёх одна дюжея, а две – развалюхи, латаные-перелатаные. Попадём в шторм – и хана нам. Насчёт сетей помозгуй – китайцы в город, слышал, завезли добрые.

Набитая под завязку подвода грузно, качко выехала со двора, крикливисто скрипя ступицами и погромыхая колёсами. Артельщики вытолкались на улицу.

– С Божьей подмогой, мужики, – сказал Михаил Григорьевич брату, похлопав его по брезентовому плечу и слегка прижав к своему боку. Иван уткнулся лбом в плечо брата и тоже чуть приобнял его. Выбежала из дома с тревожно-весёлыми глазами Дарья. На её плечи была накинута лисья дошка.

– Без опохмела-то чё за работа? Мука мученическая!

И Дарья – тайком, не тайком – проворно сунула супругу за пазуху полуштоф водки. Троекратно поцеловала Ивана в губы, не спеша, строго перекрестила:

– Храни вас Господь, кормильцы наши.

– Заботливая жёнка. – Иван похлопал её ниже спины, подмигнул брату и торопко пошёл за остальными, уже ступившими на ледяное, заволочённое мглой поле.

Дарья крестила их вслед и шептала молитву.

Одним из последних со двора выходил Виссарион с объёмной поклажей на плечах и пешней в руках. Елена бдительно и ненасытно за ним следила поверх занавески. У калитки Виссарион вдруг обернулся, фонарь выхватил из сумерек утончённые черты его красивого лица. Он посмотрел прямо на окно, из которого украдкой выглядывала Елена. Девушка отпрянула, и её словно бы обдало жаром или, быть может, стужей – не могла разобрать. «Неужели пришла она... она... любовь?» – недоверчиво спросила она себя.

Позавтракали наскоро и по хрусткой дороге двинулись в обратный путь. Елена, пока ехали берегом озера, всматривалась, поворачивая голову назад, в ледяные светлеющие просторы, видела разорванные цепочки людей и животных, которые уходили на извечный и желанный промысел нерпы. Неожиданно её чуткий молодой слух уловил звенящий, но утробный грозный треск: чудилось, из самых вселенских байкальских недр пришёл он. Елена словно бы отвердела вся, подавшись вперёд грудью. Всматривалась в глубокую даль. Но и без того разорванные, разрозненные человеческие цепочки уже превращались в размазанные точки. Вовсе пропали.

Снова пролетел по округе нутряной треск, он утешал. А следом – хрустальная сыпь ледяных осколков. Видимо, где-то обрушился высокий, подточенный жаркими апрельскими лучами торос. Восток, сдвинув тёмное облако, широко озарился и стал наливаясь матовым светом нового дня. Михаил Григорьевич приподнял отяжелевшие веки, но сказал свежим голосом:

– Байкалушко, чай, просыпается. Ранёхонько в энтим годе. Испужалась, Ленча?

– Что же, батюшка: могут раздвинуться льдины?

– Могут. Но, кажись, рановато для ледохода. Просто – вздохнул наш кормлец. Живой ить он: тоже, как и нам, дышать надобедь, – незаметно для себя перешёл Михаил Григорьевич на старинный, забываемый в пригородных сёлах сибирский говорок с малопонятными словами «надобедь», «кормлец». Он любил всё, что было связано со стариной, сибирским старожилческим укладом, хотя род его был, как выражались, из пришлых.

За Лиственничным величаво текла в неведомые земли, навечно покидая Байкал, широкая тихая Ангара, укатывая с собой его ледяные слёзы-осколки. Елена плотнее укуталась шалью, теребила распушённую на конце, наспех заплетённую в гостях косу. Жалобно, но звончато хрустел под колёсами утренний ледок. Влажный холодноватый воздух был напитан запахом оттаявшей земли, и Елена глубоко вдыхала в себя этот воздух и отчего-то не могла надышаться. «Люблю? – Но вопрос пугал. – А как же Семён? Он меня любит так преданно! Не буду ли потом всю жизнь каяться?» – спросила она себя так строго, будто бы уже отважилась на что-то бесповоротное.

Глава 14

Этими же пасхальными часами, поздним вчерашним вечером, сотворилась короткая, но решительная расправа над скотником Фёдором Тросточкиным.

Фёдор смолоду старательствовал в Бодайбо и тяжело заболел там ревматизмом. Был обманут коварным вороватым мастером и вынужден был года три назад вернуться в родное Погожее с одной котомкой за худыми выпирающими плечами, с болями в суставах и без копейки денег. Родители к тому времени почили, жены и детей у него не было. Пустой, с заколоченными окнами дом встретил ещё не старого, но усталого, больного мужика запахом гнилой нежили. Скота не имелось, хозяйство разорено, стропила провалились, стайка, почти весь лабаз сгорели, огород зарос бурьяном, и потащился горемычный Фёдор к Охотникову в работники, прижился в его большом, расположенном на окраине села тепляке, ухаживая за поросятами. Исправно топил печи, задавал корма нагуливающим сало животным, старательно чистил клетки. Жил тихонько, не пил, не ссорился с другими работниками – казалось, смирился с судьбой, не желал лучшего и большего.

Однако крепко жила в Фёдоре мысль обзавестись своим двором, жениться, родить наследников. Михаил Григорьевич ценил Фёдора, платил ему порядочно, вовремя, но этих денег не могло хватить, чтобы обустроиться хотя бы по-среднячки. Фёдор знал, что такое большие деньги, но здоровья и прежнего жара в сердце уже не было, чтобы сызнова кинуться в желанный, но тяжкий, засасывающий омут приисковой, фартовой жизни или уходить на сезонные заготовки в таёжье.

Однажды сговорился с одной хуторской семьёй – обосновавшейся с началом Столыпинских реформ на отрубках, в пяти-шести верстах от Погожего за железной дорогой, – которая тоже не могла выдраться из нужды, да к тому же перенесла большой пожар, навалившийся из объятой пламенем тайги, сговорился о том, что втихомолку будет им поставлять с охотниковского свинарника корма, а они будут у себя тишком откармливать свиней и бычков, сбывать мясо ленским приисковым откупщикам и на иркутских рынках. Ночью к свинарнику со стороны тайги тихо подкатывала подвода на резиновых колёсах и в неё загружались дармовые отборные корма. Охотниковы не могли понять причин, по которым стал никудашно нагуливаться скот, думали, что какая-то хворь между ним завелась. Приглашали из волости и даже из города ветеринаров, советовались с местным коновалом-знахарем Бородулиным Степаном, однако ясности не прибавилось. Зародилось сомнение: честен ли тихий, покладистый Фёдор?

Угрюмый не по своим молодым летам, Василий Охотников вчера, когда всё село христосовалось и гуляло, допоздна пропьянствовал на конюшне с уже бывшим в запое недели две Николаем Плотниковым и прятался в сене от матери и бабушки.

В сумерках Василий и Николай пошли было по селу в поисках браги или самогонки, украдкой, огородам, но у повети⁶ застряли: заметили подводу, медленно ехавшую по кочкам пустыря от охотниковского свинарника. Несложно было догадаться хотя и пьяному, но неглупому Николаю – корма крадут. Скрипнул зубами, выругался. Василия, который уже терял силы, упирался головой в заплот, растолкал. Подхватил вилы и волчьей рысью, низко согнувшись, пробежал через скользкую, усеянную помётом поскотину. На въезде в сосновый бор нагнал подводу, сдёрнул с облучка шуплого мужика – хуторского работника Ивана Стогова. Жестоко и безумно пинал. Мужик закрывал ладонями лицо, вертелся на плече, как карусель, но порой затихал, обмякая. Качаясь, подбежал Василий, тоже пнул мужика. Мужик вскочил и махнул в кусты. Обезумевший Николай, не примеряясь, метнул в него вилы. Одним зубом вошли они в ляжку. Мужик завопил, вырвал из ноги вилы и ползком, перебежками скрылся за

⁶ Навес в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря.

деревьями. Настигать не стали, потому что знали, кто главный виновник. Повернули подводу к свинарнику, возле которого стоял Тросточкин, приставив руку козырьком к глазам. Он стал заполошно, запинаясь и на ровном месте, метаться по двору, потом, трусовато пригибаясь, побежал к селу. Василий, не ведая, что и зачем творил, нагнал его у тына, но запнулся о корягу и всем своим богатырским телом чаянно-нечаянно толкнул щуплое тельце Тросточкина на суковатую тынину. Однако и сам рухнул рядом.

Фёдор лежал без чувств, но потихоньку постанывал. Его лоб был глубоко рассечён, и глаза заливала кровь. Василий приподнялся на руках, сказал, по-детски тоненько протягивая слова:

– Фе-е-едя? Чего ты? А-а-а-а?..

Николай подбежал, склонился над Тросточкиным:

– Вась, ить порешил ты его, кажись. Не дышит уж. Холодет.

Покачиваясь и низко склонив растрёпанную голову, потрясённый Василий побрёл к дому, во дворе которого гулял и веселился люд. Заикаясь, путано рассказал о случившемся матери и, вялый, сгорбленный, убрёл отяжелённым шагом на сеновал. Трезвел, но страхом наливалась голова. Казалось, не понимал, что происходило вокруг.

Полина Марковна испугалась, увидев лежавшего бездыханного Тросточкина. С Николаем бережно занесли его в узкий, с низким потолком закуток свинарника, в котором он одинокое жил, зажгли сальную свечу. Густые ломаные тени смотрели со стен. Прыскали в лицо водой, подносили к носу нашатырь, хлопали по щекам.

Очнулся Тросточкин, его окровавленные губы страшно повело:

– Тати... тати.

– Федя, Федя, что, что, рódный наш?! – тряслась Полина Марковна, склоняясь ухом к студёным губам. – Федя, голубок Христовый...

– Тати... тати.

– Молочка? Перинку? – безумно спросила Полина Марковна. – Скажи – всё принесу, всё отыщу для тебя, голубкá. Ты же знашь, как мы тебя любим. Ради Христа... ради Христа... – Но, кажется, сама не понимала, о чём просила.

Николай взглянул через плечо Полины Марковны, увидел синеющий лоб, перекрестился, ребром ладони смахнул влагу с морщинистой щеки:

– Упокой его душу, Господи. Преставился.

– Что, что?! – вскрикнула Полина Марковна, отстраняясь от Тросточкина. Опустилась перед умершим на колени, зарыдала.

Утром из двора во двор вышагивал ропот:

– Охотниковы-то, слышали, Федьку Тросточку порешили? Сказывают: так-де хлестали, аж мозги вытекли.

– Тросточка тоже хорош: тырил, пёс, у благодетеля. Оне, приисковые, отчаянные! Каторжанские у них души, неприкаянные.

– Упокой его душу!..

Михаил Григорьевич, когда узнал о случившемся, отшатнулся, стал мотать головой, как пьяный. Потом подрагивающими пальцами раскурил предложенную отцом самокрутку, но дым, казалось, не шёл, не вдыхался внутрь – зачем-то дул Михаил Григорьевич, будто хотел загасить тлеющий край. Всё же вдохнул дыма, но долго не выпускал его, словно бы забыл. Григорий Васильевич колченого, но нервно-быстро ходил по двору мимо строившегося амбара, закинув руки за спину и не зная, что ещё сказать сыну, убитому страшной вестью.

За спиной Григорий Васильевич держал гербовые бумаги, которые вчера вечером завёз ему из волостной управы знакомый стряпчий Тихонов. Эти бумаги закрепляли за Охотниковыми Лазаревские покосы и ещё несколько выгодных, оспариваемых миром участков в поле-сье и в просторном Егоровском распадке на правом берегу Ангары. Новость была настолько

радостной, жданной, что Емельяна Савельевича Тихонова, маленького старичка, который, собственно, и приехал погулять к своему старинному товарищу, дальновидно подгадав с оформлением бумаг к разговенью, обласкали и упоили. А рано утром, собирая в дорогу, наложили в его бричку несколько пудов всевозможной снеди.

Бумага в ладонях Григория Васильевича отпотела, и он не видел, как струйка пота размазала гербовую печать и завитую, размашистую подпись.

Сын и отец не знали, о чём говорить. Ни в дочери, ни в сыне не было Михаилу Григорьевичу настоящего счастья, и теперь он это остро понял и потерялся. Физически ощущал – уходили из-под ног какие-то начала, тверди жизни и судьбины.

Напряжённо лежал возле будки, как-то виновато моргая маленькими глазами, рыжий, большеголовый пёс Байкалка. А с хозяйственного двора в щель ограждения с ленивым любопытством заглядывала молодая поджарая сучка Ягодка.

Василия ещё ночью дед запер в чулане – чего не вытворил бы. Ни во дворе, ни на покоситине, ни возле трёх амбаров не было видно работников. Все, казалось, затаились по углам, ожидая какой-то развязки. Но возле коров тем не менее появились женщины, готовясь к неизбежной дойке. Полина Марковна, одетая, лежала лицом вниз на нерасстеленной кровати. Елена ходила по горницам (их, в сибирских традициях, было в доме две). «Оставить, оставить весь этот кошмар, всю эту тараканью жизнь! – воспалённо думала девушка, сжимая пальцы. – Нет смысла в такой жизни с её мелочными расчётами, потому и опустил Вася, сам того не сознавая, пошёл на преступление. И я здесь – сгину. Сгину!»

Любовь Евстафьевна сидела в своём пристрое, то молилась, стоя перед образами на коленях, то подходила к чулану и слушала угрожающую, сгущённую тишь.

– Вась, – звала она. – «У-у...» – слышалось ей глухое, словно бы из дебрей. – Ты уж не того... слышь? – неясно говорила Любовь Евстафьевна.

Пришёл из конюшни непривычно трезвый, расчёсанный Плотников, в белой до самых колен рубаше, в начищенных салом малоношеных сапогах, перекрестился, поклонился на восток и хозяевам, сдавленно сказал:

– Готов, Михайла Григорич, грех Василия принять на себя всецело: мол, пьяный был, не упомяну, чего творил. Я – старый... мне чего уж. А вы за то избу-пятистенок моему сыну, Савелию то есть... из нужды он не может выбиться, скот у него полёг от хвори в том годе... поставьте пятистенок, скарбишком, скотинёшкой какой снабдите, пахотной земельки отрежьте десятинки три. Чтоб хоть он пожил да внуки мои – Захарка, Петька, Дашка, Марейка... а я уж так... сгину, не сгину на каторге, в забоях, а дитяти чтоб жили, тянулись к свету да к Богу. Вот, стало быть, какой коленкор. – Замолчал, вытирая крупные капли слёз.

Михаил Григорьевич смотрел на конюха пустыми глазами, в его руке уже погасла самокрутка. Хрипнул, ворочая языком, который, казалось, распух:

– Всё, Митрич, в руках Божьих.

И – замолчал, упирая взгляд в коричневатый и выпуклый, как родимое пятно, сучок плахи.

Немного погодя Плотников сказал, переминаясь с ноги на ногу:

– Оно верно, Михайла Григорич, да всё ж знайте: я к вам с душевностью, со всей своей погубленной по собственной глупости, иначе православной душой. Мне жалко Василия... молодой... наследник ваш... Чем смогу, тем помогу. А вы Василию, однако ж, шепните, чтобы на следствия лишнего не балакал, больше помалкивал. Растолкуйте ему: Николай Плотников готов-де... – обратился он уже к Григорию Васильевичу. – Да, готов я, Василич. Мне уж терять неча, пропащему-то, – отмахнул он загрубелой рукой и убрёл на конюшню.

К вечеру приехали на крытой телеге двое пожилых, неразговорчивых сотских в пропостевших, вылинявших мундирах с одним припылённым охотничьим ружьём да с пеньковыми верёвками. Связали по рукам Василия и Плотникова. Усадили их на телегу спина к спине,

отправились в путь – к туманному Иркутскому семихолмию. Полина Марковна заголосила, побежала за подводой, запуталась в своём широком сарафане и упала на каменистый суглинок дороги. Елена помогла подняться, прижала к себе мать. Обе всматривались в багровую тропу большого закатного неба, проторённую через Ангару. Из дворов выходили люди, шурились на дом Охотникова, лузгали семечки и кедровые орехи. На Великом пути возвещающе и грозно трубил паровоз, окутывая горизонт чадом.

Глава 15

Василий, несмотря на грубоватое мужичье сложение, непробованную силу, был добрым, покладистым парнем, даже тихим и, как говаривали домашние, маменькиным сыночком. С малолетства Елена льнула к отцу, а Василий – к матери. Но он не был изнеженным, неприспособленным к житейским передрягам недорослем, просто отклики на позывы своей души он чаще находил у матери или бабушки. Он любознательным острым корешком врал в большое охотниковское хозяйство, не отходил от лошадей. Однако во всём ему хотелось видеть справедливость и встречать какую-то мягкость и благообразие во взаимоотношениях с кем бы то ни было. Отец весь в делах, напористый, зачастую крутой с людьми, особенно с работниками, – и маленький чуткий Вася не потянулся к отцу, хотя уважал и любил его. А мать рассудительная, мирная, ласковая, хотя внешне суровая и замкнутая чалдонка, – с ней Вася чувствовал себя уютно, защищённо, как птенец под крылом наседки.

Мать не хотела отдавать сына в город, в гимназию. Вздвигаясь говорила мужу о своих недобрых предчувствиях и опасениях. Но Михаил Григорьевич разумел: неграмотным в России, в которой с началом нового века жизнь перерождалась не по годам, а, похоже, по месяцам, невозможно будет продвигаться в купеческом или даже крестьянском деле. С запада приходили в Сибирь новые диковинные сельскохозяйственные машины; на ярмарках народ судачил о каких-то «технологиях» в маслодельном и пивоваренном, в ткацком и скорняжном производстве. Михаил Григорьевич видел, как богатели те купцы и заводчики, которые смело применяли технические новины. Как нужен был ему поблизости свой не просто грамотный, а подкованный на все сто человек!

Василий в городе не освоился, хотя к гимназии мало-мало притёрся, однако особого усердия в учении никогда не проявлял. Он был послушным, безропотным. Обычно таких обижают, но Василий был первым и непревзойдённым силачом гимназии. Только он мог в четырнадцать лет сто раз выжать одной рукой пудовую гирию, только он мог «шутейно» уложить враз троих-четверых однокашников, только он мог из всей гимназической братии согнуть и разогнуть двухвершковый гвоздь. Но он не обладал тем качеством, которое называют удачью, а потому сила ему вроде как и не надобна была. Он словно бы не понимал, к чему можно приложить силу, чего с её помощью можно при случае достичь или добиться. Василий о силе своей, казалось окружающим, забывал, по крайней мере не использовал её, чтобы завоевать среди мальчишек первенства, превосходства. А, напротив, был среди них смирен, скромен и даже, представлялось, незаметен. Но никто не смел Василия обидеть ни словом, ни делом, а преподаватели в своём кругу восклицали: «Этот Василий – ну просто русский былинный богатырь, господа!»

Он видел и знал, как гимназисты тишком попивали вино, закуривались, украдкой бежали в публичные дома, тащили из родительского кармана деньги на вино, курево и продажных девок; как азартно проигрывали эти деньги в карты и кости; как рвались в синемафотограф «Художественный декаданс» турецкого подданного Ягдж-оглу, когда там крутили развратные ленты; как щеголевато катались на роликах по знаменитому скейтинг-рингу, прогуливая занятия, не готовя домашнего задания; как кружком жадно рассматривали карточки с обнажёнными женщинами и запоем прочитывали книги и журналы со срамным содержанием. А отпрыски богатых родителей надменно разъезжали по городу в авто, распугивая пешеходов взрёмом клаксона, газуя без нужды, заруливая на тротуар и разбрызгивая лужи. Он однажды увидел, как парни надругались над иконой, измазав её губной помадой.

Когда Василий учился в старшем классе, у него стало водиться больше, чем прежде, денег: отец не жалел, щедро давал, хотя осмотнительная мать пыталась воспрепятствовать:

– Куды подталкивашь мальчонку? Глянь, чего деется в городе: грешник на грешнике сидит и ко греху подгонят. Ослеп ли, чё ли?!

– Ничё, мать! – сдержанно и хитровато усмехался в бороду супруг. – Наша охотниковская порода не из хлипких да падких. Не завернёшь нам оглобли с пути! За Ваську я покоен.

Наивное крестьянское тщеславие Михаила Григорьевича порой не знало удержу и рамок, но он как хозяин и семьянин от чистого сердца хотел, чтобы все ведали: Охотниковы крепущие, могут жить широко, а потому с ними быть в делах – надёжно и выгодно. Хозяин и купец в его душе частенько могли побороть отца и семьянина.

Разговоры однокашников о своих кутежах хотя и возмущали Василия, но и смущали его неокрепшую, склонную к болезненным расстройствам душу. Как-то гимназист Кармадонов, сын спившегося чиновника городской управы, не имея своих денег, затянул Василия в дешёвый притон на Второй Солдатской. Уламывал настойчиво, вёртко. То подсовывал Василию карточки с нагими девицами, то млеющим голосом нащёптывал о прелестях женских. Василий угрюмо отмалчивался, но желание в нём росло.

Перед порогом притона Василий вдруг застопорился, оглянулся назад, как будто искал подмоги, но Кармадонов, блеюще посмеиваясь, втолкнул заробевшего товарища внутрь. В носшибануло спёртым запахом вина и пудры. Кармадонов подталкивал Василия, не давая ему опомниться, по тёмному коридору в тускло освещённую залу, а там громко смеялись женщины и поскрипывал тупой иглой патефон.

Как выбрался из той клоаки – не помнил до беспамятства напившийся Василий; а пил потому много, чтобы заглушить душу. Кармадонов потом подловато рассказывал однокашникам, что рыдал Василий, когда вернулся с девкой из номера в общую залу. «И хлестал водку, как жеребец на водопое, а ведь всё-то трезвенником прикидывался перед нами, господа!» Буянил там Василий, расшвыривал отцовские деньги, бил посуду и ломал стулья. Скручивали его, но он вырывался. Насилу вытолкали вон.

И с того случая для Василия белое обернулось чёрным, доброе – злым, твёрдое – мягким, сладкое – горьким; быть может, он на самом деле психически занедужил. Перестал понимать, как жить, куда идти и даже – во что верить. Его подхватило и понесло каким-то стремительным грязным потоком, закручивало смертельными воронками. Он увидел и убедился: многие люди не боятся ни Бога, ни дьявола, но чувствуют себя счастливыми, довольными, уверенными. Однако он не был готов к такой жизни и – запил, страшно запил. А если бы не запил, так, может быть, сошёл бы с ума или покончил бы счёты с жизнью. «Бога нету? – порой спрашивал он себя. – Мы не нужны Богу?» Но кто мог ему ответить настолько убедительно, чтобы его душа вернулась к прежнему состоянию покоя и неги?

Испуганный столь ужасающим поворотом, отец забрал Василия из гимназии, но от запоев уже не мог спасти. Василий опускался ниже, ниже. В клинику к психиатру Охотниковы не обратились – ведь какой был бы позор для всего охотниковского рода!

Глава 16

Приготовление к свадьбе пришлось остановить: как в неожиданно опустившемся грозовом облаке стал обретаться дом Охотникова Михаила Григорьевича. Отпели и похоронили Тросточкина, в своём доме устроили поминки. Было много народу. Вслух никто не обвинял Охотниковых, но втихомолку шушукались.

Справили девять дней Тросточкину, снова приспело на помин много народу. Всех Охотниковы накормили, напоили.

Удачно сеялось Михаилу Григорьевичу, но ходил он хмурым, сжатым. Не покрикивал, не ворчал, как обычно, на работников и домочадцев. Если раньше молился только с семьёй, то теперь чаще в одиночку, прикрывая дверь в горницу и даже задвигая занавески на окнах. Щёки втянулись, исчез привычный румянец здоровья и жизнелюбия. На высоком загорелом лбу вздрагивала глубокая продольная морщина. Сильные натруженные руки отчего-то сами собой ослабевали, вяли. «Неужто опосле меня хозяйство прахом пойдёт, род наш загнётся? Эх, Василий, Василий...»

Шло следствие. Из города приезжал в синем строгом мундире важный, полный присяжный поверенный Лукин. Он лениво смотрел на крестьян поверх пенсне с позолоченной дужкой, нудно, с позевотой опрашивал свидетелей, Охотниковых. Уже поздно вечером состоялся важный разговор между Лукиным и Михаилом Григорьевичем. Присяжный пригласил его в правление, выслал из комнаты писаря, плотно прикрыл расшатанную дверь.

– Ну-с, без лишних слов-с – вот что вам, уважаемый господин Охотников, скажу. Плотников принял вину на себя, пояснил: от зелёного змия-де в голове помутилось. – Помолчал, всматриваясь в багровеющее лицо Михаила Григорьевича. Усмехнулся, выпустил изо рта сизый дымок папироски: – И всё же, всё же – кто убил Тросточкина?

Михаил Григорьевич помолчал, приподнял на адвоката бровь:

– Не могу знать. Сами уже, поди, развели. Ить я находился у брата в Зимовейном.

– Впрочем, касаемое убийцы – я знаю! – вроде как весело сообщил Лукин, бодро поднявшись со скрипящей табуретки. – Фёдора Тросточкина убил Василий, ваш сын. Имеется в деле два достоверных, неоспоримых свидетельства – отца и сына Алёхиных. – Лукин неторопливо пошуршал бумагами, помахал одной из них перед своими глазами: – Вот-с, засвидетельствовано собственноручно. Пётр Иннокентьевич Алёхин вместе со своим семидесятилетним отцом Иннокентием Аполлоновичем возвращался из гостей проулком и увидел издали, как Василий саданул Тросточкина о тын. То же показывает и Алёхин-старший. Но главное не это, а то, что ваш сын сам мне признался в смертоубийстве, на бумаге написал и... знаете, плакал, да-с, плакал, как дитя малое-с. Такая, знаете ли, нежная и ранимая у него душа, – то ли насмешливо, то ли серьёзно уточнил Лукин. И неестественно нахмурился, взял двумя пальцами защепку пенсне, но почему-то не снял их, задержал руку на переносице. По-бабьи вздохнул: – Горько, искренне ваш сыночек плакал, просил строгого к себе наказания, каторги и даже – казни. Вот-с оно как, – неопределённо добавил поверенный и всё-таки снял пенсне, тщательно протирал стёкла платком, чему-то покачивая лысеющей круглой головой.

– Покаялся, стало быть, – тихо вымолвил Охотников с непонятным даже для самого себя удовлетворением. Закурил и глубоко вобрал в грудь горького самосадного дыма – долго выпускал носом, сохраняя черты лица недвижимыми. В глазах отчего-то стало резать.

– Да-с. Требовал к себе самого строгого и сурового наказания, – повторил Лукин, защемляя на переносице пенсне и снова пристально всматриваясь в багровое, но холодное лицо Охотникова, которое видел только на четверть. – Мещанин Иван Стогов, вёзший краденый корм от вашего тепляка, наотрез отрицает факт, что был в тот вечер возле вышеозначенного тепляка, и что никакого корма-де не крал и в глаза, мол, не видывал. А ранения, дескать, получил неча-

янно-с: в темноте овина напоролся на вилы да в погреб там же упал. Вот такая с ним чуждая и в то же время чудная история содеялась. Ну да ладно – хотя бы жив, бедолага, остался. Хозяева хутора, господы Похмелкины, утверждают, что подводу кто-то украл от их избы и что они в тот пасхальный вечерок с ног сбились, разыскивая оную. Любезнейшая госпожа Похмелкина даже показала мне свежайшую мозоль на ноге – впечатляет, знаете ли.

Михаил Григорьевич громко кашлянул в кулак, но промолчал.

– Правильно, что помалкиваете: и сие тоже пустяки. Главное – признание Плотникова, а оно может в корне изменить судьбу вашего сына. То есть я могу добиться освобождения из-под стражи Василия прямо завтра, ежели-с... – Лукин замолчал и вытянул из ворота кителя налитую шею, всматриваясь в казавшееся дремучим лицо Охотникова.

Водворилась тишина; казалось, что оба собеседника даже перестали дышать.

Лукин чиркнул спичкой, зажёл свечу – на белёные, но бревенчатые стены легли две изломанные тени. На замерших, чего-то напряжённо ожидающих собеседников пытливо смотрел с картинки император Николай II.

– Вы меня, разумеется, любезный Михаил Григорьевич, превосходно понимаете, – осторожно, как бы заикаясь, начал поверенный, ласково потирая своё мягкое, туго обтянутое брюками со штрипками колено.

– Денег поболее хотите, – просто произнёс Охотников.

– Да-с, их, окаянных, – натянуто улыбнулся Лукин, искоса и живо взглянув на окна и дверь.

– А ежели и мне охота, чтобы сын мой, Василий Михайлов Охотников, пострадал да страшную вину чрез тяготы каторжные искупил?

– Ну-с... позвольте... радостей жизни лишиться в этаким юном, понимаете ли, возрасте... вы отец... я не настаиваю... но-с... судьба каторжника... ваш наследник-с... а Плотников... потерянный человек... Сын, знаете ли, есть сын.

– Для земной жизни умрёт, для вечной сохранится, – пресёк Лукина Охотников и послушно вынул из кармана бумагу.

– Как-с?

– Что сгорит, то не сгниёт, говорю.

– Не понял?!

– Не хотите ли, ваше благородие, нашенского табачку: так продерёт в нутрах, что запоёте петухом-с.

– Итак, хотите, чтобы я вернул в уголовное дело показания Алёхиных? А они, к слову, лютейшие ваши супротивники и, понял я, желают вашей скорейшей гибели, бесчестия вам. И показания Василия вернуть? А он, опять-таки к слову говоря, мог под впечатлением трагедии помутиться своим нестойким молодым разумом-с и теперь плетёт на свой счёт, хотя довольно-таки правдоподобно. И ещё: вас многие в деревне недолюбливают.

– А я, вашеество, не девка, чтобы меня любить. Я – крестьянин, – нехорошо усмехнулся Охотников. – Всё в руках Божьих. Жить надобедь по совести, а не абы как. На том стояла и будет стоять русская жизнь. Желая здравствовать. – Привстал с табуретки. Постоял, сминая в зачерствелых руках картуз. Но – направился к выходу.

– Ну-с, как знаете! – процедил Лукин, тоже усмехаясь поведёнными вправо губами.

Неожиданно из-за печки, из самого тёмного угла, зашуршало и на свет вышел, привычно по-гусиному припадая на правый бок, замазанный известью и сажей Григорий Васильевич. Еле-еле поднимал затёкшие ноги и морщился.

– Что такое?! – вскрикнул, нешуточно перепугавшись, присяжный поверенный, с открытым ртом опускаясь на табуретку и пятнисто бледнея на массивных, покачивающихся щеках.

– Батя, ты ли?!

– Батя, не батя, он ли, не он ли, – ворчливо отозвался Григорий Васильевич, стряхивая с бороды куски извести и глины. – Сядь! Я ить так и думал: ты, Михайла, зачнёшь кочевряжиться. О совести речь повёл! Эх!.. Охота, конечно, жить по совести... да коли уж влипли... Человек дело толкует: пошто парня губить, судьбину на самом взлёте подсекать? – Повернулся к неподвижному и, казалось, затаившемуся Лукину, резко нагнулся к нему и лицо в лицо осведомился: – Сколь жалаете, вашество?

Лукин едва-едва оправился от испуга, но посмотрел ещё раз в углы, на печку и громоздкий, грубо сколоченный шкаф с папками, протянул, закатывая глаза:

– Э-э, всего-то тысячу рубликов... с вашего, так сказать, позволения.

– Тышша, вашество, иначе, многонько, а пятьсоточек – в самый разок. Да снedyю завадим твои закрома, овчины подкинем, бондарного, шорного скарбишки.

– Грешное дело, батюшка, творим. Господь-то видит.

– Молчи! Я род охотниковский спасаю! О внуках и правнуках думаю! Об истлевших костях своо отца и деда помню! О своих горемычных летах вспоминаю, когды опухал от голодухи и дрожал от хлада!

– Батюшка, одумайтесь, – назвал отца на «вы», хотя всегда обращался на «ты».

– Цыц! – заострился нос у разгневанного старика, и яркими острыми точками загорелись маленькие ребячливые глаза. – Молод ишо супротивиться воле отца! Как молвлю – так тому и бывать! Так-то!

– Воля ваша, батюшка. Но Бог – выше.

Замолчал, туго склонив большую лобастую голову и покусывая витой, но жёсткий ус.

– Бог – Бог, да не будь сам плох, – метнул Григорий Васильевич, отворачиваясь от сына. Но и на Лукина не желал смотреть. Перекрестился на ютившуюся у окна икону Николы Угодника, тихо, шелестящими губами произнёс молитву: – Прости, Господи, грехи мои. – Быстро прошёлся из угла в угол. Свет от потрескивающей, тающей свечи колотился – ходили ходуном тени на стенах и потолке, словно силась вырваться наружу. Наконец, скрутил газету своими корявыми короткими пальцами, торопливо и небрежно прикурил от свечи, опалив бороду.

Лукин поверх пенсне, двигая узко выщипанными бровями, наблюдал за отцом и сыном, помалкивал, но губы трогала тайная, невольная улыбочка ироничности и насмешки.

Потом допоздна говорили спокойно, рассудочно, но Михаил Григорьевич часто и внешне равнодушно отмалчивался, отъединялся от ясных, определённых ответов, покусывая губу и упирая взгляд в замазанную чернилами столешницу. Ни разу не возразил отцу, но было понятно, что ни по одному пункту с ним не согласен. Сладились так: Василию года полтора-два нельзя появляться в Погожем, потому что недруги Охотниковых, особенно свидетели Алёхины, могут пойти по начальству и прошение куда надо подать. Но и в тайге, на заимках, в беспокойном, предлагающем много соблазнов Иркутске или на Ленских приисках, на которые со всего света съезжается разношёрстный гулевой люд, неопытному, шаткому, тем более такому вспыльчивому парню жить не подобает. Лукин предложил пристроить Василия на военную службу – в пехотный полк иркутского гарнизона: там будет на глазах у взыскательных командиров, при деле, а также подальше от родных мест.

– Годами он, конечно, не дорос до армейской службы, но я подсоблю вам, господа: у меня в военном губернском ведомстве надёжные связи. Однако-с, любезные, сотенку-полторы придётся вам накинуть: тому нужно подмазать, другому позолотить. Сами понимаете! – зажмурился как бы простодушно Лукин.

Глава 17

Судебное заседание было назначено на середину июня, однако стараниями Лукина состоялось в начале мая. Уставший, издёрганный, но не подавленный Григорий Васильевич на нём присутствовал вместе с Василием, который привлекался в качестве свидетеля. Других очевидцев страшного происшествия не присутствовало, так как они не были заявлены в деле.

Василий высох, оброс клочковатой бородой и уже не походил на парня, а на придавленного, пожившего на свете мужика. Его каменисто-карие, какие-то припылённые – как камни у трактового пути – глаза запали глубоко, чёрно.

Когда Василия выпустили из ворот тюрьмы, дед, один встречавший его, испуганно уставился на постаревшего внука, беззвучно раскрывал рот, поднимал и опускал ладонь.

– Что... как он? – спросил внук, отводя глаза в сторону.

– Кто, Вася? Отец? Слава Богу... молитвами... – Но дед оборвался и пристально посмотрел в неподвижное чужое лицо внука. – Ты о ком? – спросил он зачем-то шёпотом и стал озираться, словно могли подслушивать.

– О Тросточке. Что, похоронили, поминки справили?

– Всё ладком. Не печалуйся. Да ты какой-то изгилённый нонче. Встряхнись, Васька! Чего ты даёшь столбов – иди шагай, ли чё ли! Али в острог удумал возвратиться? Иди! – Приземистый, худощавый дед толкнул своего высокого, плечистого внука в широкую спину, и тот покорно – как покатылся – пошёл прямо, а нужно было повернуть влево. – Да куды ты пошёл в лужу?! Ослеп?

Зашли за угол тюремного замка, и дед крепко взял внука за грудки.

– Ты о Тросточке забудь: было-было, да быльём поросло. Ему, безродному, видать, дорога была давным-давно заказана туды, – в неопределённом направлении мотнул старик головой.

Потом сели на каменистый берег шумной реки Ушаковки на самом её впадении в Ангару, молчком смотрели в тусклые, искрасна зацветающие дали раннего вечера. Старик низко, к самым опущенным глазам Василия наклонил липкий тонкий куст молодого тополя с зелено-молочными годовыми побегами:

– Глянь – уж леторосли⁷ потянулись к солнцу, набирают силёнок: большой тополь вымахат здесь... и тебе, молодому, здоровому, следоват тянуться к жизни, к людям... к живым! А душой – к Богу.

Внук втянул ноздрями пряный, духовитый запах набухших смолистых почек, но не отошел от слова деда. Ушаковка пенно, взбивая со дна песок и ил, врывалась в Ангару и навечно вплеталась в её зеленоватые молодые волны.

– Ты, Василий, молись... молись... проси Николая Угодника... – Но дед не нашёлся сказать, что же нужно просить у святого.

Василий молчал, вяло, как-то обессиленно держал голову набок. Потом вдруг спросил, вздрогнув:

– Николая?

Григорий Васильевич тоже чего-то испугался, стал озираться. Шепнул:

– Ась? Чего? – Но Василий молчал. – Чего, ну? А-а-а! Вона што! Да другого, дурень, Николая – Угодника, святого Николу. Помнишь, верно?

– Помню.

– Вот и молись – а он уж вытянет тебя.

Когда на судебном заседании Василию стали задавать вопросы, он сначала молчал, прикусив губу, переминался с ноги на ногу. Всё же стал отвечать – односложно и неясно, заи-

⁷ Побег, ростки.

кался, замолкал, тупо глядел в пол. Григорий Васильевич, беспокойно сидевший за его спиной, покрываясь капельками пота, пытался пояснять за внука, но председатель суда строго отчитал старика, пригрозил вывести из зала.

– Ваше высокоблагородие, молодой... слабоумный внук-то мой... снизойдите... благодетельствуйте... он с виду большой... вона, вымахал... дылда... а умишком-то – дитё дитёй... – и сам ясно не понимал, что и зачем говорил, шурша пересыхающими губами, вытянувшийся, как солдат, Григорий Васильевич.

– Что там этот старик лепечет? – взыскательно обратился к приставу председатель, вытягивая из золотистого воротника белую, но морщинистую шею.

– Вы, ваше... как вас?.. мальчишку не пугали бы вопросами: я всё, как на духу, уже поведал вам и следователю, – громко сказал Плотников, приподнявшись со скамьи и натянуто улыбаясь.

– Пристав, будет ли восстановлен, наконец-то, порядок?! – повысил голос председатель.

Маленький, угодливый пристав подбежал, запнувшись на ровном месте, к Василию, но ничего не сказал ему, лишь сжимал губы и потрясал кулачками. Метнулся к Плотникову и отчаянно-тихо, словно захлёбываясь, выкрикнул:

– Молча-а-ать!

– Да уж молчу... ваше... как вас?

– Молчать!

– Видать, парень и впрямь повреждённый, – шепнул председателю один из членов суда, значительно двигая рыжеватыми лохматинками бровей.

– Н-да, – слегка качнул важной седой головой председатель, но с сочувствием в голосе добавил: – Некрепкое пошло поколение: чуть что – и раскисаем, расплзаемся, так сказать, по швам. Наверняка убиенный был ему близок, коли он так подавлен и расстроен.

После короткого перерыва, скучного, монотонного чтения длинных, но обязательных протоколов, рассеянного осмотра вещественных доказательств, недолгой, но сердитой, обличительной речи товарища прокурора с пышными бакенбардами и длинного витиеватого выступления присяжного поверенного Лукина слово было предоставлено Плотникову. Но Николай даже не встал, махнул рукой:

– Чего уж: пора закругляться.

Но вдруг поднялся Василий, страшно побледнел, вытянулся. Его рот повело, однако звука не последовало. Григорий Васильевич как кошка подпрыгнул и крепко вцепился в рукав стёганой, на росомашьем меху сибирки внука. Отчаянно тянул его вниз, но лишь сползал рукав и вместе с ним опускался к полу старик. Василий оставался недвижим.

– Пристав! – умоляюще-строгим, утончившимся голосом зыкнул председатель, теряя всю важность и значительность своего вида. – Помогите же! Выведите!..

– Больной!.. Помешанный!.. Поди, пьяный... – шептались присяжные, разминая руки и потряхивая плечами.

Подбежавший пристав и Григорий Васильевич прочно взяли Василия под мышки и потащили почти что волоком из зала. Василий не сопротивлялся, лишь только тяжело стал дышать: ворот рубахи натянулся и впился в его горло. Усадили на лавку в длинном холодном коридоре.

– Ступай с Богом, – отталкивал от внука шуплого испуганного пристава старик. – Благодарствуем. Ступай, ступай. Мы как-нибудь сами... благодарствуем... Возьми гривенник. Али полтинник? Возьми! Да иди ж ты, служивый! Сами, чай, разберёмся.

Когда пристав бочком-бочком удалился, оглядываясь и покачивая головой, старик вдавил в омертвелое лицо внука кулак и сквозь зубы выговорил, с трудом пропуская слова:

– Покаяться хотел? Только пикни мне ишо! Удавлю!

– Покаюсь... не могу... – хрипло ответил Василий. Склонил на колени голову и замер.

Дед крепко держал внука.

Вскоре в коридор в сопровождении конвоя вышел Плотников. Григорий Васильевич пристал, наклонил голову, снимая перед ним шапку.

– Восемь лет – не срок, – с неестественной певучестью в голосе на ходу сказал Плотников, смахивая с бровей пот и приостанавливаясь возле Охотниковых. Но конвойный слегка подтолкнул его. – А ты, Василич, помнишь ли нашенский приговор?

– Помню, Николаша, помню, – в побелевшем кулаке намертво зажав ворот сибирки внука, тихо отозвался Охотников. Искоса, с пугливым подозрением взглянул на массивные двери зала судебных заседаний, но оттуда ещё никто не вышел, хотя уже слышался шорох ног по паркету. – Савелия взяли в заделье – будет с приисками торговать, а бабу евоную – в свинарки. В нашем же тепляке и своих трёх-четырёх поросятков будет откармливать. На зиму Савелия сидельцем определим в лавку. Пойдёт мужик в гору, развернётся, чай. У него царь-то в голове имеется. Возвернёшься – ахнешь. Да и о тебе, благодетель, не забудем.

Плотников лишь молча наклонил землисто-пепельную голову. Из залы вышли люди, обмениваясь мнениями о судебном заседании, участливо смотрели на Василия; старик предусмотрительно замолчал и зачем-то кланялся важным, по его понятиям, господам.

У самого поворота в потёмки левого коридора Плотников приостановился и крикнул, взмахнув рукой:

– Василия берегите! Богатыри нам нужны!

– И тебе – Господь в помощь, и тебе – Божьей милости, благодетель ты наш, – кланялся растроганный старик, не забывая крепко-накрепко держать внука. Но Василий по-прежнему сидел со склонённой на колени головой и, казалось, даже не дышал.

Глава 18

Определяясь в пехотный полк, несколько дней внук и дед провели у монахини Марии в гостевой келье Знаменского монастыря. На вечере родственники втроём молились и покидали церковь последними. Григорию Васильевичу все ночи не спалось. О страшном грехе внука он не сказал Марии: знал, на исповеди она непременно всё расскажет священнику. Мучился старик, что нужно жить во лжи. Но не видел выхода.

Мария думала, что Василия определяют в полк за пьянки, за беспутное поведение.

В последнюю ночь, уже под утро, старик разбудил Марию, и они сидели под большим, развесистым тополем в просторной монастырской ограде и разговаривали, замолкая, крестясь, вздыхая. В ногах лежал бархатистый коврик мелкой травы, пахло сырой землёй и снежной свежестью Ангары. За высокими кирпичными воротами слышался цокот лошадиных копыт и скрип телег. В низком пасмурном небе стояла сизая, наливавшаяся солнечным светом дымка.

– Немилостива к нам судьбина, Федорушка, – тусклым голосом говорил старик, устало шурясь на бледную бровку восхода.

– Окститесь, батюшка, – отвечала Мария, поворачивая к отцу обрамлённое чёрной косынкой лицо, на котором выделялись большие грустные коровьи глаза. – Люди в болезнях, бедности живут, да благодарят Господа за дарованное им счастье жить, а вы – ропщете.

Она перекрестилась и посидела с сомкнутыми веками.

– Так ить по-человечеству охота жить-то, дочь, а не так – из огня да в полымя всюё жисть, – сдавленно вздыхал отец, заглядывая в родное, открытое лицо дочери. – Людской благосклонности охота, доброго взгляда односельчан. Согласия охота в душе... а чего же тепере? Вся жисть перекувырнулась. Эх!

– Каждый, батюшка, грешен по-своему. Не осуди, да не судим будешь. Но так мы жить ещё не умеем, – вздохнула дочь, тонкими белыми пальцами перебирая косточки чётков.

– Осудят, – и стал скручивать табак в газетный листок.

– А вы не осуждайте. С покорностью принимайте гонения и хулу.

– Я-то привычный ко всякому, а вот Михайла не сломался бы.

Дочь не отозвалась, равномерно перебирала чётки. Отец прикурил, жадно затянулся горьковатым дымом.

– Фу, табачище, – отвернулась Мария, сохраняя на губах светлую улыбку. – Не дай Боже, увидит матушка настоятельница. Она у нас строгая. Уж вы в ладошку, что ли, пускали бы дым, батюшка.

– Я и так таюсь, Федорушка, – виновато и наивно, как напроказивший мальчик, улыбнулся отец, зачем-то пригибаясь. Опускал руку с дымящейся самокруткой под лавку.

После завтрака Мария поманила в свою келью задумчивого, молчаливого Василия и с ласковой, но напряжённой улыбкой надела на его тугую молодую шею серебряный лакированный образок с ликом Пресвятой Девы.

– Храни тебя Господь, Вася.

Перекрестила, поцеловала – слегка коснувшись губами – в холодный лоб, зачем-то расправила складки на его сибирке. Но в глаза племянника ни разу не посмотрела, словно чего-то боялась или скрывала.

– Знай, я денно и ночью молюсь за тебя, помню о тебе, Вася. Ты – наш... – она сглотнула и, бледнея, добавила: – Наша кровинушка и... крест. На то воля и промысел Божьи.

Он сжал зубы, ничего не сказал в ответ, а отошёл к двери, медленно опустил ладонь на скобку, однако не вышел. Спросил, не поднимая глаз:

– Как мне жить, тётя Феодора?

Она торопливо и отчего-то испуганно ответила, поворачивая голову к образам с зажжённой лампадкой и накладывая мелкие крестные знамения:

– Господь Вседержитель укажет путь. Верь – непременно укажет, поможет. Молись, молись...

Василий прервал её:

– А Он не отвернулся от меня? – И племянник первый раз за это утро поднял на Марию глаза. Она тоже прямо посмотрела на него:

– Он всех любит.

Её щёки загорелись, она смутилась, стремительно подошла к Василию, склонила к его широкой, затаившейся груди повязанную чёрной косынкой голову, едва слышно сказала, порой переходя вовсе на шёпот:

– Ты, Вася, молись, много, много молись. Очищай душу, ищи Божьего. – Она помолчала, перевела дыхание, подняла на племянника глаза, блестящие слезами: – Ты, сильный, молодой, непременно найдёшь опору в жизни, отыщешь дорогу к Господу, потому что Он помнит обо всех.

В келью заглянул испуганный, взъерошенный Григорий Васильевич, на глазах удивлённой Марии вытолкнул внука за дверь.

После хождений вместе с Лукиным по военному начальству, которому тоже пришлось заплатить немаленькую сумму, вечером, перед отбытием в Погожее, дед сказал внуку возле высоких кирпичных полковых ворот:

– Эх, Василий, содеял ты страшное и непоправное, ан уныние – тож великий грех. Послужи исправно отечеству, царю-батюшке да людям – глядишь, и Господь всколыхнёт твою душу, чуток ослобонит удавку. Молись, подчиняйся начальству, не перечь, не суйся, куды не следоват, будь кроток сердцем, но твёрд умом. Так-то! Помни: нам больно, но больней будет, ежели что с тобой злоключится. Береги и себя и... нас. С Богом, Василий.

Старик перекрестил внука, уже одетого в кургузую – для него, богатыря, не смогли подобрать нужного размера – военную форму, пока без погон и шевронов, поцеловал в лоб, поприветствовал к груди и подтолкнул в ворота. Хромая, медленно пошёл по длинной тополиной аллее. Не оборачивался. Василий, сжимая зубы, смотрел ему вслед и видел, как старика стало заносить к обочине, как он досадливо отмахнул рукой, видимо, выругался и пошёл прямее, но слегка приволакивал изувеченную правую ногу. Внук не знал, что глаза старика влажно застелило так, что не было видно пути.

Глава 19

Ко Дню святой мученицы Елены Охотниковы полностью отсеялись; тихо справили девятнадцатилетие дочери и внучки Елены. Оставались для посадки только капуста и огурцы, которым срок наступит сразу после июньских ночных заморозков; пока саженцы набирались сил в тепле под стеклом.

Стояли ясные, безоблачные дни. пышно цвела черёмуха. Ангара полыхала зелено-ватого-голубым пламенем. Птицы высиживали птенцов. Просторное небо ласково смотрело на землю – на нежно зеленеющую берёзовую рощу, на густое малахитовое облако соснового бора с чинным, ухоженным погостом, на деревянную церковь со знаменитым воронёным Игнатовым крестом, на далеко расположенный, но властно-остро взблёскивающий рельсами Великий сибирский путь, на укатанный каменистый тракт с примыкающими к нему лавками, базаром, управой и кабаком, на просторные луга и пашни за поскотинами – на весь славный тихий погожский мирок.

Михаил Григорьевич нелегко сговорился с будущим сватом о времени свадьбы: Орловы-родители были весьма суеверны, осторожны и не хотели, чтобы венчание состоялось в мае.

– В мае женишься – век маешься, учили нас старики, – хмуро сказал Иван Александрович. – Лучше – осенью, как у людей. Можно, конечно, и летом... да тоже как-то не так... не по-нашенски, не по-православному обычаю. Всеми, знаешь ли, Михайла Батькович, своё время: и снегу выпасть, и невесту облачить в белые одеяния.

Михаил Григорьевич готов был уже согласиться с Орловым, которого был младше почти на тридцать лет и которого уважал как дельного, прижимистого, фартового хозяина, но в разговор вступил Семён, чуть в стороне починавший с работником Горбачом сбрую, но напряжённо ловивший каждое слово отца:

– В городе, гляньте, батя, свадьбы играют каждый месяц, да ничё – живут люди, не разбегаются. Щас наступил в наших крестьянских хлопотах короткий передых, на неделю-другую – не боле, а опосле сызнова до самого октября впряжёмся.

– Город он и есть город – ему законы не писаны, старинных правил он не признаёт, – осёк сына отец, взыскательно посматривая на двоих работников, которые неторопливо запрягали у поскотины лошадей. – Тама всяк воробей живёт по-своему, а мы – миром, на глазах у общества. Уважать надо общество, – поднял вверх худой указательный палец Иван Александрович. – А жить, как хочу-ворочу, – не по-нашенски, стало быть.

Но и сын не дал договорить отцу:

– В прошлом годе, батя, помните ли? Окунёвы и Ореховы, соседи нашенские, справили свадьбу в самую посевную пору. Кажись, на самого Николу. Так Наташка ихняя уже по второму разу брюхата.

Михаил Григорьевич одобрительно покачивал головой, но в разговор не встревал, боясь обидеть Орлова-старшего. Посматривал на ухоженный просторный орловский двор, бревенчатую лиственничную стену высокого – самого высокого в Погожем – дома, но с очень маленькими, по-настоящему сибирскими окошками. По двору носились работники. «Вышколил, иначе, – с лёгкой завистью подумал Михаил Григорьевич. – У такого волчары не загуляешь».

– Да в нынешние времена кому чего вздумается, то и воротит, – досадливо махнул длинной рукой Иван Александрович. – Нонче в церкву не загонишь, а то ишо обычаи они тебе будут блюсти! Держи карман ширше! В городе-то побудешь день-другой, так опосле отплёвываешься с неделю. Повело человека вкось и вкривь. Царя хают, Бога не признают, родителей не почитают, ревацанеров слушают, развесят уши. Тьфу, а не жисть пошла!

– Верно, верно, Иван Александрович, – качал головой Охотников, с надеждой, однако, посматривая на Семёна, которому словно бы хотел сказать: «Давай-давай, напирай на батьку!»

– Так что, отец, со свадьбой порешим? – спросил Семён, пристально всматриваясь в отца. Отец не ответил, а повернулся неожиданно улыбнувшимся, но каким-то дремучим, бородатым лицом к Охотникову, подмигнул ему:

– Чего уж, коли молодым невтерпёж – надобно женить! Наше стариковское дело – маленькое, а жить-то имья купно. Надобно так надобно – на том и кончим, Михайла Батькович. Али как?

– Надобно, Иван Лександрович, надобно всенепременно! – радостно-больно вздрогнуло в напружиненно ожидавшей груди Охотникова. – В Крестовоздвиженскую повезём на венчание. Три экипажа – настоящих дворянских, с позументами, вензелями! – найму. Уж пировать, стало быть, так с размахом! Мне для Ленки ничего не жалко, лишь чтоб она счастливой была. Гостей будет тьмы тьмами. По всем законам справим свадьбу – будет и тысячкой. Эх, в твои руки, Семён, передаю. Смотри мне! – весело погрозил он пальцем. – Девка она, конечно, своеобразная, учёная, вишь, – не будь промахом. По первости даст тебе понюхать шару самосадного, да ты похитрее будь: спасибо-де, суженая, за табачок. – И Михаил Григорьевич неестественно громко и один засмеялся.

Суховатое, но красивое своей строгостью лицо Семёна тронула сдержанная улыбка, однако прижмуренные глаза не улыбались. Смотрел вдаль на мчавшийся по железной дороге паровоз, который таял в густом васильковом просторе.

– Что ж, давай пять, Григорич! – сказал старик Орлов, медленно поднимая своё костлявое тело с завалинки. – Да к столу милости прошу: обмоем уговор. Васильевна, шевели телесами: выставляй араку⁸ и закуски! Да пива нашенского, орловского, не забудь! – крикнул он стоявшей в ожидании на высоком резном крыльце супруге.

Марья Васильевна улыбнулась широким полным лицом, заносчиво ответила, кладя короткие полные руки на взъёмные бока:

– Вы пока тута баяли, разводили турысы⁹, я уж сгоношила на стол. – Принаклонилась в сторону Охотникова: – Милости прошу в горницу, сватушка. Знаю, пельмешки любишь с горчичной подливкой – имеются. Для тебя расстаралась! Да гусю голову своротила – запекла с яблоками да изюмом бухарским. Проходи, проходи.

– Благодарствую, благодарствую, Марья Васильевна, – поднялся с завалинки и тоже поклонился Охотников, ощущая в сердце необыкновенную лёгкость и ребячливую радость: словно бы, как в детстве, попал из рогатки в цель и можно теперь гордиться перед менее удачливыми сверстниками. – Пельмешки пельмешками, а хозяйку больше ценю и уважаю. Твои кушанья, Васильевна, завсегда в охотку ем.

Марья Васильевна зарделась.

Поздно вечером крепко выпивший, напевшийся и даже наплясавшийся в гостях Михаил Григорьевич сообщил дочери о скором дне свадьбы. Елена сдавленно, но отчётливо произнесла:

– Не люблю я его.

– Ишь – не люб ей! – прицыкнул отец и хлопнул кулаком по столу. – Не за проходимца какого выдаём – за крепкое орловское семя. Сам купчина-богатеи Ковалёв метил Семёна в зятя, ан нет – на-а-аша взяла! Радоваться надобно, песни петь, а ты-ы-ы!.. Тьфу!

– Не люблю.

– Да чего ты зарядила! Дура! Пшла прочь с моих глаз!

Елена гневно взглянула на отца, сжала губы, промолчала, но чувствовалось, что через силу. Направилась на хозяйственный двор – на дойку, с грохотом сняла с тына пустое ведро.

– У-ух, постылая, – скрипнул зубами отец, прикладывая ладонь к сердцу.

⁸ Молочная водка.

⁹ Пустые разговоры, болтовня.

Подошла Полина Марковна; она слышала разговор отца и дочери из соседней горницы. Михаил Григорьевич хмельно покачивался на носочках хромовых, с высоким голенищем сапог, говорил жене:

– Ничё, собьётся спесь возле мужа. У Орловых не задуришь – живо окорот дадут!

Полина Марковна покачивала головой:

– Ой, не стрястись бы беде, Михайла. Уж с Василием тепере – неискупимый грех на нас... а Ленча – такая ить бедовая да упрямая.

– Помалкивай! Быть по-моему! Без Орловых нету нам пути! А дочь не пощажу, ежели чего супротив моей воли удумат, гадюка. Её и себя пореш... – Но он оборвал фразу. Сжал кулаки. Застонал.

Полина Марковна испуганно отпрянула от супруга, но промолчала.

Михаилу Григорьевичу было худо, в сердце болело, и он, ещё выпив прямо из графина смородиновой настойки и забыв помолиться, завалился в одежде и сапогах на кровать с высокой белоснежной постелью. Полина Марковна покорно и участливо раздела супруга, который стал бредить и метаться, обтёрла смоченным рушником потное, пропечённое солнцем лицо. Потом долго молилась, стоя на коленях перед образами.

Предсвадебная суета охватила большой и многолюдный дом Охотниковых. Ножной «Зингер» чуть не круглосуточно мелодично и деловито постукивал и поскрипывал в одной из горниц. Дошивали приданое. Из города была приглашена модистка. Приехала помогать Дарья со старшей дочерью Глашей. Однако прока от Дарьи было мало: она не столько помогала с шитьём или советами, сколько ходила без большой надобности по чистому и хозяйственному дворам, щёлкала кедровые орехи и показывала в беспричинной улыбке свои красивые полные губы и белую бровочку зубов охотниковским работникам, особенно чернокудрому женолюбивому конюху Черемных. По такому случаю Игнат снова надел свою длинную красную рубаху со щеголеватыми крупными голубыми пуговицами на вороте.

– Хор-роша кобылка, – говорил Игнат другому строковому – молодому, но осторожному Сидору Дурных, поглядывая на Дарью из потёмки конюшни. – Я похлопал бы её по крупу, пошурудил бы под потником. Бурятка, азиатчина, иначе – ладна, хороша, стерва. Я китаянку на своём веку мямл, а до бурятки али монголки руки пока не дотянулись.

– Мотри, Григорич тебя самого не похлопал бы по крупу... орясиной аль вожжами. А то и мужик еёный, Иван, тоже тебя, гляди, приласкат, ежели чего прознат.

– Ничё, пуганые мы уже! Я, Сидорушка, в энтих делах воробей стреляный, – подмигнул Игнат. – От городских тикал без портков через весь Иркутск по Большой – от мещаночки Погодкиной. Тады дикошарый муженёк еёный нагрянул со свидетелями. Даже стрельба, бра-тишка, была. Но вот он я – жив-здоров, чего и тебе, тетеря сонная, жалаю!

– Ну-ну, воробей! Обод на телеге будем менять али к бабьему подолу носами зачнём тянуться? – посмеивался Сидор, засучивая рукава.

Глава 20

Накануне венчания собрался в доме Охотниковых весёлый, щебечущий девичник. Михаил Григорьевич предусмотрительно отъехал по делам в поля, на пасеку к Пахому, на таёжные лесосеки и вернулся уже за полночь. Из девушек две были сердечными подружками Елены – высокая, статная, с чёрной длинной косой двадцатилетняя Александра Сереброк и суетливая, смешливая и некрасивая шестнадцатилетняя Наталья Романова, к которой Елена тянулась больше, чем к горделивой и яркой Александре.

Подружки не спеша расплели богатую косу невесты, расчесали волнистые волосы большим деревянным гребнем, напевая, перешёптываясь и порой вспрыскивая смехом.

Уже наступил вечер, но солнце ещё стояло над изгородами оград, капая на зеленеющую землю чистыми брызгами заката. От церкви донёсся колокольный звон, призывавший к вечерне; но все Охотниковы были заняты девичником, даже Григорий Васильевич не пошёл в церковь – поклонился на темнеющий восток, выходя из курятника с лукошком яиц. Старик, покряхтывая, помогал Полине Марковне и Любове Евстафьевне – они готовили стол для девушек, пока те весело плескались и парились в бане.

Никто не заметил, как к дому подкатили две пароконные пролётки с улусными гостями-сродственниками – Доржиевым с домочадцами. На Бадме-Цырене, нестаром, сбитом, был надет длинный китайчатый халат с высоким вельветовым красным воротником. Полный живот обхватывал алый пояс. На нём ладно сидели хотя и русского покроя, но с приподнятыми, монгольского вида носками яловые сапоги, в которые были заправлены жёлтые атласные шаровары; лысоватую потную голову венчала белая баранья шапка. На широком лице Бадмы-Цырена росла редкая, но выющаяся борода; узкие глаза источали спокойствие, сдержанность, умную осторожность. С ним приехали два сына – худенький подросток Аполлон и парень Балдуй, одетый на русский манер в полукафтан, рубаху с косым воротом, в брюки и – редкие в крестьянской среде – туфли. Из-под брезентового навеса повозки как-то испуганно-виновато выглядывала супруга Бадмы – рано состарившаяся, болезненная Дарима, укутанная в большой, неразрезной впереди вельветовый дыгиль. На её ногах были усеянные бисером лёгкие унты, на голове узорчатая, с медными бляшками шапочка, однако сверху покрытая тёплой козьей шалью. Дарима была украшена блестящими бусами, длинными серебряными серьгами, а в седоватую, словно припылённую, косу были вплетены яркие ленты и какие-то мелкие золотистые побрякушки. Под брезентовыми навесами сидело ещё несколько родственников.

Бадма-Цырен спрыгнул с козел, не выпуская из руки кнут, размялся, постукивая подковками каблуков по каменистому ссохшемуся суглинку; коротко, по-бурятски, сказал, чтобы все оставались на своих местах, а сам просунул голову в калитку. Взвились собаки, однако сразу признали частого охотниковского гостя – сучка Ягодка завиляла хвостом, а Байкалка, выглядывая в застреху с хозяйственного двора, хотя и перестал лаять, но скалился и важно рычал. Гость вошёл во двор, посмотрел на мастеровивших новый амбар артельщиков, занятых затягиванием бревна, – они даже не взглянули на гостя, – и неожиданно вздрогнул, отпрянул к калитке: из конюшни, расположенной за хозяйственным двором у поскотины, вышла Дарья, его дочь, устало-томно стряхивая с кофты солому и улыбаясь вполоборота головы кому-то, находившемуся в сумерках конюшни.

Отец сжал в руке потную кожаную цевку кнута и твёрдым шагом направился к дочери. Крепко взял её за локоть и толкнул в конюшню. Дарья поскользнулась на сырых, унавоженных досках и упала, охнув, но не вскрикнув. На них наткнулся Черемных; он завязывал на рубахе пояс и направлялся во двор. Бадма-Цырен, выругавшись сквозь зубы, вытянул его вдоль спины кнутом и сразу повернулся к дочери; она закрыла ладонью глаза и замерла в ожидании.

Черемных, трусовато пригнувшись, метнулся к поскотине, перелетел через высокое прясло и скрылся в тёмном березняке за огородами.

Отец хлёстко стегал притихшую Дарью по плечам и рукам, быстро приговаривая на бурятском языке:

– Сучка, не позорь отца, мать, братьев, стариков, наш уважаемый род! Весь улус уже судачит, как ты лезешь под всякого кобеля! Засеку-у!

Дарья молчала, не морщилась, не уворачивалась от сыпавшихся жестоких ударов, только сжимала губы и обеими ладонями закрывала лицо и растрёпанную голову. Когда он, наконец, перестал сечь и вытирал рукавом халата пот со лба, она сказала на плохом бурятском языке, которого не любила и на котором стеснялась изъясняться, если выпадал случай встретиться с земляком, единоплеменником:

– Простите, отец. Повинная. Недостойная.

И замолчала, опутив глаза, однако не плакала, не вздыхала.

Кнут ещё несколько раз просвистел в воздухе, оставил на шее Дарьи весёлый кровоподтёк, и – установилась тишина, только слышно было тяжёлое дыхание Бадмы-Цырена. Дочь не шевелилась и, казалось, даже не дышала. Из бани доносилось протяжное девичье пение, смех. В курятнике бестолково кричал петух, всхрапывали лошади, поедая овёс и сено. Тонко, но настойчиво ржал в закутке жеребёнок.

На небо выкатилась из-за сопок правобережья томная желтоватая луна с усом-облачком. От далёкого Иркутска мчался на запад локомотив с составом вагонов, он выбрасывал в густеющие сумерки клубы дыма и пара. Над Ангарой замерла шёлковая простынка серебристого тумана. Пахло сырой землёй, отёсанными брёвнами с новостроящегося амбара, смолой, прелой соломой и сеном. Где-то на краю села, кажется, на месте посиделок молодёжи у качелей, всхлипнула тальянка.

Бадма-Цырен с упёртым в землю взглядом вышел из конюшни, проследовал на чистый двор, осмотрелся исподлобья, увидел выглянувшего в оконце пристроя Григория Васильевича – низко поклонился ему, выжимая на перекошенном лице улыбку приветствия. Дарья пробежала в огород, придерживая подол пышной праздничной юбки и не поднимая уже повязанной косынкой головы, и скрылась в зимовьюшке – домике с сараями и кладовками, в котором ночевали работники. Потом перебежала в баню.

Раскрасневшийся, улыбающийся Григорий Васильевич подошёл к Бадме-Цырену, и они троекратно облобызались.

– Ну, здравствуй, тала, дружок ты мой сердешный! – в умилении говорил Григорий Васильевич, всматриваясь в оттаивающие глаза товарища. – Ты что, Бадма, перебрал по дороге тарасуна: какой-то квёлый, а в глазах – хмель да беспутица? Али приболел, не ровён час? Так щас накроем стол – полечу тебя настойками моей супружницы.

– Мал-мал ругайся с дочка, Гриша, – махнул рукой Бадма-Цырен, наконец, ослабляя в ладони цевьё кнута.

Он прилично говорил по-русски, но иногда притворялся, что плохо знает язык, словно тем самым норовя скрыть свои истинные чувства и переживания.

– С Дарькой? То-то она прочесала в огород, как ошпаренная кошка: моя супружница увидала из того боковушного окна. Пора, пора намылить ей, вертихвостке, подмоченное гузно, а опосле ожечь по нему солёной бечевой. Я вот завтрава Ваньке тишком подскажу. Да всыплю ему по первое число, чтобы блюл как зеницу ока честь жёнки. Ну, не расстраивайся, не сокрушайся, тала! Поучил маненько, и – ладненько. Поймёт – не дура! Баба-то она добрая, хозяйственная. Тепере же зачнём гулять – завтрава свадьба ить! А где же все твои – Дарима, пацаны? – осмотрелся Охотников, озорно сверкая маленькими глазами, спрятанными под волосами бровей.

Вышли за ворота – родственники Бадмы-Цырена безмолвно сидели под навесами повозок, насторожённо подглядывая в щёлки. Он им что-то бодро крикнул по-бурятски – стали спрыгивать на землю, почтительно здороваться с Григорием Васильевичем. Он каждого обнял и троекратно облобызал, пригласил в дом.

Любовь Евстафьевна и Полина Марковна стали накрывать на стол во второй горнице. А в первой уже всё было приготовлено для девичника: на длинный сдвоенный стол, покрытый белой скатертью старинной канфы – китайской ткани, которая досталась Любви Евстафьевне ещё от её бабушки, – были выставлены закуски, бражка и квас, а также конфеты в золотистых фантиках и пряники в сахарной глазури.

Глава 21

Девушки парились, плескались холодной водой, выбегали из парилки в просторный, как горница, предбанник, разваливались на широких лавках своими разгорячёнными румяными телами, облегчённо вздыхали, смеялись и жадно пили пиво или квас. Елену парила услужливая Наталья Романова и всё приговаривала, легонько проходя по телу подружки берёзовым, выдержанным в кипятке веником:

– Какая ты, Ленча, красавица! Тулово у тебя прямо-таки мраморное, как у статуи. Видела я у одного купца такую в евоных хоромах, Венерой величают. А какие груди у тебя! Не то что мои висюльки разнесчастные, – небрежно махнула она веником по своим маленьким грудям. – Семён увидит тебя голой – обомлет и, глядишь, забудет, чего надобно делать.

– Имя, кобелям, напоминать не надо, чего с нами делать: вмиг скумекают, как энтих самых делов коснётся, – вступила в разговор густым бархатным голосом красавица Сереброк.

Александра очень хотела выйти замуж, но сватовство несколько раз расстраивалось по причине того, что её родителям, крестьянам средней руки, но достаточным, хотелось заполучить богатого, именитого жениха. Одно время они осторожно, исподволь подступали к Орловым и чуть было уже не сговорились с Иваном Александровичем, однако Семён твёрдо отверг Александру, уже давно остановив свой выбор на Елене. Когда гордая Александра узнала об этом, она украдкой плакала, потом несколько отдалилась от Елены, а на вечерках не смотрела в сторону Семёна и не здоровалась с ним.

Теперь Александра ясно поняла, что Семён ей сильно нравится, и потому стало в её душе зреть отчаянное чувство ненависти и раздражения не только к нему, но и ко всем молодым мужчинам и парням. Она думала, что судьба с нею обошлась несправедливо, даже жестоко, злокозненно. И вправду, более состоятельного, знатного жениха, чем Орлов, в её теперешней жизни не намечалось. Над Александрой нависла неумолимая угроза либо пойти за любого, кто предложит, либо остаться в девках – а это почиталось позором, несчастьем, но достойным не сочувствия – скорее издёвки и насмешки. Она и Елену – после сватовства к ней Семёна – как будто невзлюбила, хотя дружили они с малых лет, делились девичьими тайнами.

– Не все они кобели и блудливые, Саша, – без интереса отозвалась Елена.

– Твой-то, поди, не кобель – паинька? – Александра сморщилась в надменной улыбке.

– Какой такой «мой»? – действительно не поняла Елена. Однако сразу сообразила, о ком может идти речь, тоже усмехнулась и сердито ответила подруге: – Может быть, тебе, Саша, хочется это добро прибрать?

– А что, рази не добро али какая пустяковая заячина?

Наталья прекратила париться и удивлённо посмотрела на подружек. Простодушно моргала и по молодости не понимала: ругаются или смеются, шутят?

– А ну тебя в баню, Сашка-букашка! – неестественно засмеялась Елена и брызнула в глаза Александры холодной водой: – Вот тебе, вредина! Не заглядывай на чужих мужиков!

Александра отбивалась веником, не улыбаясь. А Наталья поддала в каменку – с шумом повалил на девушек густой жгучий пар, и вскоре они друг друга уже не видели в клубах синевато-седых облаков.

– Вот вам, вот вам обеим! – ещё плеснула Наталья на раскалённые увальни два полных ковшика. Установилось такое удушье, что в парилке стало невозможно оставаться, и девушки, толкаясь и повизгивая, выбежали в предбанник.

Глава 22

В предбаннике было шумно, девушки пели, даже плясали, напившись пива. На круглом столе горела керосинка, отбрасывая на бревенчатые стены весёлые подвижные тени. Александра притянула к себе голову Елены и в самое её ухо сказала:

– Ан не люб тебе Семён, девонька. Ви-и-и-жу! Не обманешь! Ты образованная – пошто он тебе, увалень деревенский? Мне отдай его, покамест не поздно. Мы с ём – два сапога пара, – неприятно засмеялась она. – Али как?

Елена пыталась посмотреть в глаза подруги, но та цепко держала её голову в своих ладонях. Елена всё же увидела, что Александра улыбалась потемневшими поджатыми губами и лицо подруги было натянутым, чужим, совершенно незнакомым для Елены. Ей стало боязно и тревожно, а тени, метавшиеся по стенам и потолку, показались угрожающими.

– Христос с тобой, Саша, – всё же выкрутилась из её рук Елена. – Не плачь – не разрывай моего сердца, – шептала она в самое ухо подруги. – Воля отца – пойми ты!

Александра махнула мокрой, взлохмаченной головой, сдавленно засмеялась:

– Пошутковала я, а ты уж струсил, давай на батюшку вину спихивать! – Отвернулась от Елены и крикнула, размахнув руку: – Девки, голубушки, наливайте! Замуж отдаю товарку. Ой, напьюсь завтра с горя горького! А можа, уже и сёдни! Музы́ка где? Патефон сюды тащите! А можа, гармониста затынем? Игнатку Черемных, к примеру, меринка стоялого?!

– Уж Игнат, знатный юбошник, тута развернётся!

– Он, жеребеч черногривый, мигом зашшупат всех до смерти!.. – смеялись девушки.

Проскользнула в баню Дарья, прошла в тёмный с занавеской угол, разделась и скрылась в парилке. Ни на кого не взглянула, прикрыв лицо мочалом.

– Чего с Саней? – шёпотом спросила Наталья у Елены. – Как чумовая, а в глазах – тоски на пуд с фунтом.

– Тризну справляет... по своей любви, – ответила Елена, прижимая к своему боку маленькую шуплую Наталью. Странное, незнакомое чувство вздрогнуло в Елене, и она подумала, через силу усмехаясь: «Неужели ревную? Неужели имеется в моём сердце искорка любви к Семёну? Чудна бабья душа!»

– Неужто и она метила за Семёна? – округлились детские глаза простодушной Натальи. – Не поделили, чё ли? А он хоро-о-ош. Высокий, в плечах косая сажень, работающий и богатый. Везучая ты, Ленча! А я Васю, братца твоего, вспоминаю, – вздохнула подруга и откусила от пряника. – Так, знашь, порой взгрустнётся – хоть вой. В задворье ино схоронюсь за поветью и плачу. Ты не думай, что я только простушка-хохотушка!

– Помнишь Василия? Дай тебя поцелую в щёку. Он ведь не злой... вспылел пьяный.

Подружки помолчали, сдерживая дыхание, словно к чему-то прислушиваясь внутри себя.

– Где он теперё? – негромко спросила Наталья, прижимаясь к Елене. – По селу слух идёт: оправдали-де, не осудили, а Плотников пошёл на каторгу. Выходит, Вася чист, не преступал закона? – Наталья стала дышать тише, ожидая. Елена ответила не сразу:

– Не знаю. Дед отмалчивается. От отца с матушкой тоже ничего не добьёшься. Но тебе шепну по секрету: в солдатах он.

– Ой, батюшки!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.